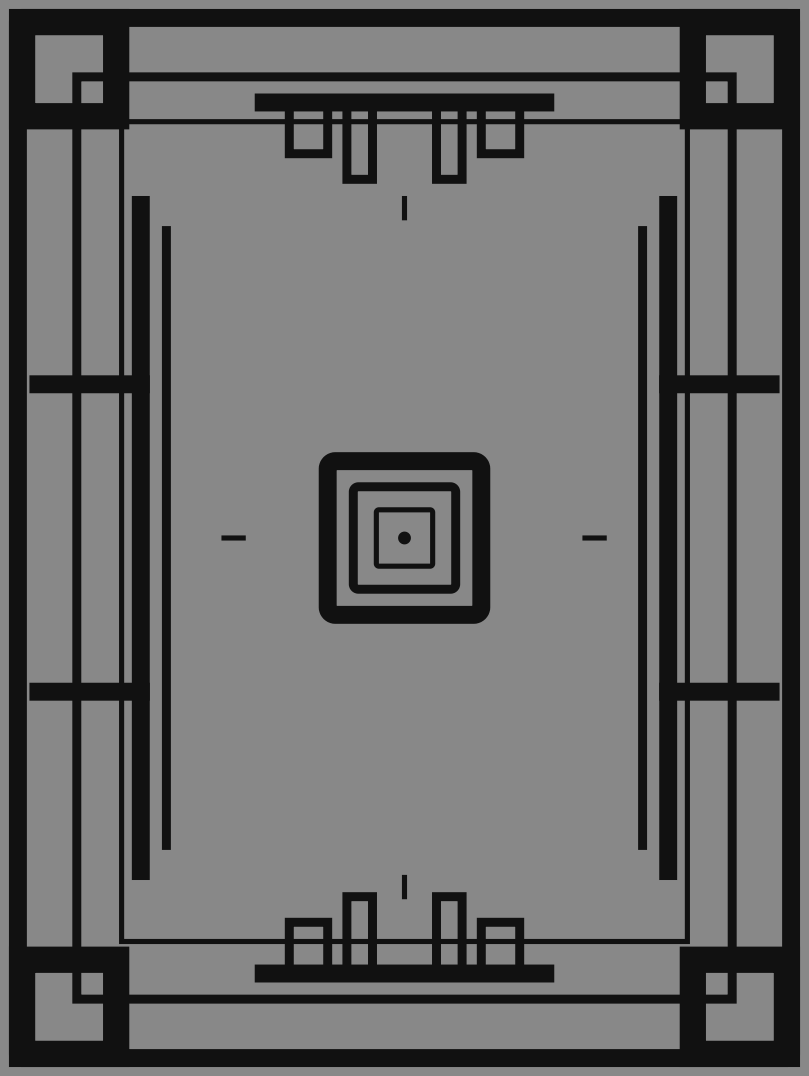

Время перемен
Роберт Силверберг

Время перемен
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Время перемен

Роберт Силверберг. Время перемен.
Robert Silverberg.
A Time of Changes (1971). — _

1

Я — Кинналл Дариваль, и я намерен рассказать вам все о себе.

Эти слова мне кажутся настолько странными, что режут слух. Я читаю их на бумаге — узнаю свой собственный почерк, узкие вертикальные красивые буквы на плохой серой бумаге — и вижу свое собственное имя, ощущая в мозгу эхо рефлексов сознания, порождаемых этими словами. «Я — Кинналл Дариваль, и я намерен рассказать вам все о себе». Невероятно!

Это, должно быть, то, что землянин Швейц назвал бы автобиографией.

Это означает отчет кого-то о мыслях и поступках, написанный им самим же.

Такая форма литературы неведома на нашей планете, поэтому я должен изобретать свой собственный метод повествования, поскольку у меня не было предшественников, у которых я мог бы поучиться. Но будь что будет. На моей родной планете я стою особняком, пока. В определенном смысле я придумал новый образ жизни. И, конечно, я могу изобрести и новый литературный

жанр.

Мне всегда твердили, что я обладаю даром владения словом.

И вот я в дощатом бараке в Выжженных Низинах, и в ожидании смерти пишу непристойности, и сам себя хвалю за литературный дар.

«Я — Кинналл Дариваль!» Жуть! Какое-то бесстыдство! На одной этой странице я уже использовал местоимение "я" раз двадцать, не меньше, преднамеренно разбрасываясь такими словами, как «мой», «мне», «себе», так часто, что даже не удосуживаюсь их считать. Какой-то поток бесстыдства! Я! Я! Я! Я! Если бы я выставил напоказ свое мужское естество в Каменном Соборе Маннерана в день присвоения имени, то это было бы менее непотребным, чем то, что я сейчас делаю. Мне почти смешно.

Кинналл Дариваль наедине предается пороку! В этом жалком уединенном месте он посылает по ветру свое гнилое естество и возвращает оскорбительные местоимения, надеясь, что порывы горячего ветра изгадят его соплеменников. Он записывает предложение за предложением, обуянный неприкрытым бесстыдством. Он, если б мог, схватив вас за руку, швырял каскады грязи в ваши уши, отказывающиеся слушать. Почему?

Неужели гордый Дариваль на самом деле обезумел? Неужели его стойкий дух всецело сокрушен терзающими мозг змеями? Неужели от него осталась только оболочка, сидящая в этой мрачной хижине, оболочка, одержимая самоподхлестыванием с помощью утратившего всякий стыд языка, бормочущего "я", «мне», «себе» и смутно угрожающего разоблачить самые сокровенные тайники души?

Нет! Это Дариваль в здравом уме, а вот все вы — больны, и хотя я знаю, насколько безумно звучат эти слова, буду стоять на своем. Я — не лунатик, невнятно шепчущий грязные откровения для того, чтобы урвать какое-то болезненное удовольствие из холодной как лед Вселенной. Я прошел через пору перемен, я исцелился от недуга, который поражает тех, кто населяет мою планету, и, изложив на бумаге то, что рвется из меня наружу, надеюсь в той же мере исцелить и вас, хотя знаю, что вы находитесь на пути к Выжженным Низинам, чтобы убить меня за эти мои надежды.

2

Не вытравленные без остатка обычаи, против которых я восстал, все еще досаждают мне. Возможно, вы уже начинаете постигать, каких усилий мне стоит строить предложения подобным образом, выкручивать падежи и спряжения, чтобы излагать мысли от первого лица. Я пишу уже почти десять минут и весь покрылся потом. Но это не пот, вызванный жгучим воздухом, обволакивающим меня, а влажный, липкий пот душевной борьбы. Я знаю, какой стиль необходим, но мускулы моей правой руки восстают против этого и рвутся излагать мысли по-старому, а именно: «писание длилось почти десять минут, и тело пишущего покрылось потом» или «пройдя пору перемен, он исцелился от недуга, который поражает тех, кто населяет эту планету».

Многое из того, что я сейчас написал, можно было бы легко изложить по-старому. Без всякого ущерба. Но я действительно сражаюсь с неопределенно-личной грамматикой своей родной планеты и, смело готов выйти на бой со своими собственными мускулами, чтобы завоевать

право располагать слова в соответствии с моей нынешней философией.

В любом случае, как бы мои прежние привычки не мешали перестраивать фразы, то, что я хочу сказать, обязательно прорвется через завесу слов. Я могу сказать: «Я — Кинналл Дариваль, и я намерен рассказать вам все о себе». Я могу также сказать: «Его зовут Кинналл Дариваль, и он намерен рассказать вам все о себе». Но, если хорошенько разобраться во всем этом, великой разницы здесь нет. В любом случае утверждение Кинналла Дариваля по вашим меркам, тем меркам, которые я хотел бы уничтожить, отвратительно, достойно презрения и непристойно!

3

Меня также беспокоит — по крайней мере сейчас, когда я пишу эти первые страницы, — что представляет собой моя читательская аудитория. Я полагаю, что у меня обязательно будут читатели. Но кто они? Кто вы?

Мужчины и женщины моей родной планеты, возможно, украдкой переворачивающие листки моей книги при свете факела и вздрагивающие от ужаса при стуке в дверь? Или, может быть, инопланетяне, пролистывающие мой труд ради забавы, ради возможности заглянуть в это чуждое и отталкивающее общество? Не имею ни малейшего понятия. Я не могу определить отношения с тобой, мой неизвестный читатель. Когда впервые у меня возникло желание отразить на бумаге свою душу, я думал, что это будет просто обычной исповедью, пространным покаянием перед воображаемым собеседником, готовым слушать меня бесконечно и, в конце концов, дающим мне отпущение грехов. Но теперь я понимаю, что нужен другой подход. Если вы не с моей планеты — или с моей, но живете в другое время, — многое

здесь вам может показаться непостижимым.

Поэтому я и должен все объяснить. Возможно, мои объяснения будут слишком пространными. Простите, если буду объяснять то, что вам уже известно. Простите, если в моем повествовании или способе его изложения появятся логические погрешности либо вам покажется, что я пишу, как бы отстраняясь от самого себя. Мне трудно представить твой образ, мой неведомый читатель. Для меня ты многолик! Передо мной возникает то крючковатый нос исповедника Джидда, то вкрадчивая улыбка моего названого брата Ноима Кондорита, то милый взгляд бархатистых глаз моей названой сестры Халум… То ты становишься искусителем Швейцем с этой ничтожной Земли. Иногда ты мой еще не родившийся пра-пра-пра-правнук, страстно желающий узнать, какого рода человеком был один из его предков…

Иногда ты некий инопланетянин, для которого Борсен — нелепый, таинственный и трудный для понимания мир. Я не знаю, кто ты, и поэтому тебе могут показаться неуклюжими мои попытки говорить с тобой.

Но прежде чем я погибну, ты познаешь меня так, как никто никого на Борсене не мог бы когда-либо познать.

4

Я — человек средних лет. Тридцать раз со дня моего рождения Борсен сделал полный оборот вокруг нашего золотисто-зеленого Солнца. Должен заметить, что на нашей планете человека считают уже старым, если он прожил пятьдесят таких оборотов. Как я слышал, большинство древних людей умирало в возрасте немного меньше восьмидесяти. Исходя из этого ты сам можешь подсчитать продолжительность нашей жизни в твоей системе летоисчисления, если ты — инопланетянин. Землянин Швейц, когда по меркам его планеты ему было сорок три года, внешне выглядел не старше меня.

У меня сильное тело. Здесь я впадаю в двойной грех: не только говорю о себе безо всякого стыда, но и выказываю гордость и удовольствие, доставляемые мне моим телосложением.

Я высок ростом. Женщины обычно едва ли мне по грудь. У меня темные волосы, ниспадающие на плечи. С годами в них появились седые пряди, так же как и в пышной и окладистой бороде, закрывающей большую часть моего лица.

У меня сильно выступающий прямой нос с широкой переносицей и большими ноздрями, мясистые губы, придающие мне, как говорят, чувственный вид и широко расставленные темно-карие глаза. Выражение моих глаз, как мне давали понять, свойственно человеку, который привык всю свою жизнь командовать другими людьми.

У меня широкая спина и выпуклая грудь. Почти все мое тело заросло густыми жесткими темными волосами. У меня длинные руки, и хорошо развитые мускулы рельефно выступают под кожей. Для мужчины своих лет я двигаюсь вполне изящно. Я всегда увлекался различными видами спорта и в молодости метал копье через всю длину стадиона в Маннеране. Этот рекорд с тех пор так и не был никем превзойден.

Большинство женщин находят меня привлекательным — по сути все, кроме тех, которые предпочитают более утонченных на вид мужчин, похожих на ученых, и которых пугают сила, размеры и мужественность Настоящих Мужчин.

Конечно же, политическая власть, которая была в моих руках в свое время, привлекла немало партнерш на мое ложе… Однако, несомненно, их влекло ко мне не только зрелище моего тела, но

и предвкушение более тонких ощущений.

И большинство из них разочаровывались во мне. Выпуклые мускулы и пышные волосы не способны сделать из мужчины искусного любовника, так же как массивные (вроде моих) определенные органы вовсе не гарантируют экстаза. Я не чемпион любовных утех. Видите, я ничего не скрываю от вас. Никому, даже исповеднику, я не признавался прежде в своей неумелости удовлетворять женщин и даже не предвидел, что когда-нибудь решусь на это. Но довольно много женщин на Борсене узнали о моем огромном недостатке самым непосредственным образом, на собственном опыте и, несомненно, некоторые из них, обозлившись, распускали эту новость, дабы насладиться соленой шуткой по моему адресу. Поэтому я и говорю здесь об этом. Не хочу, чтобы вы думали обо мне, как о могучем волосатом великане, оставаясь в неведении относительно того, сколь часто моя плоть бездействовала вопреки моим желаниям. Возможно, этот недостаток и породил одну из тех сил, которые предопределили мое пребывание в Выжженных Низинах. И вы должны знать об этом.

5

Отец мой был наследным септархом провинции Салла на нашем восточном побережье, мать — дочерью септарха провинции Глин. Он познакомился с нею, выполняя одно из дипломатических поручений, и их супружество, как говорят, было предрешено с того самого момента, как они узрели друг друга. Первым их ребенком был мой брат Стиррон, нынешний септарх Саллы, унаследовавший это место от отца. Я был младше его на два года. После меня было еще трое детей — все девочки. Две из них живы и сейчас. Самая младшая из моих сестер была убита налетчиками из Глина около двадцати лун тому назад.

Я плохо знал своего отца. На Борсене каждый является чужаком для другого, но все же отец не отдален так от сына, как другие люди. Но это не относилось к старым септархам. Между нами стояла непроницаемая стена строго установленных норм поведения. Обращаясь к нему, мы должны были незыблемо соблюдать тот же ритуал, что и его подчиненные. Он улыбался нам столь редко, что я помню каждую из его улыбок.

Однажды — это осталось незабываемым — он, сидя на своем грубо сколоченном из черного дерева троне, поставил меня рядом с собой и позволил прикоснуться к древней желтой подушке, назвав при этом меня моим детским именем. Это случилось в тот день, когда умерла моя мать. Во всех остальных случаях он не обращал на меня никакого внимания. Я боялся его и любил и, дрожа, таился посреди колонн в судебном зале, наблюдая, как он правит правосудие. Если бы он увидел меня, то, непременно, наказал, и все же я не мог лишить себя возможности видеть отца во всем его величии.

Он был стройным и, как ни странно, среднего роста мужчиной, над которым и брат мой, и я как башни возвышались даже в те времена, когда были еще мальчиками. Но в нем была устрашающая сила воли, способная преодолевать любые трудности. Как-то, в годы моего детства, в септархию приехал некий посол — обожженный солнцем уроженец запада, который остался в моей памяти таким же огромным, как гора Конгорой. Вероятно, он был так же высок и широкоплеч, как я сейчас. Так вот, во время обеда посол позволил себе залить в горло слишком много вина и прямо перед лицом моего отца в присутствии его семьи

и придворных заявил, что «есть такие, которым хочется показать свою силу людям Саллы и которые могли бы поучить кое-кого борцовскому искусству».

— Здесь есть такие, — ответил отец, охваченный внезапной яростью, которым ничему не нужно учиться!

— Пусть тогда такие выйдут, я хотел бы посмотреть на них! расхохотался посол.

Затем он встал и сбросил с себя плащ. Но мой отец, улыбаясь, — эта улыбка заставляла трястись его придворных — сказал хвастуну-чужестранцу, что нечестно заставлять кого-нибудь состязаться, когда разум гостя затуманен вином, и это, конечно, довело посла до такого бешенства, которое не описать словами. Пришли музыканты, чтобы смягчить напряженность ситуации, но гнев посла никак не мог улечься; и где-то через час, когда винные пары несколько улетучились, он снова потребовал встречи с нашим атлетом. Ни один человек из Саллы, говорил наш гость, не способен противостоять его мощи.

Тогда септарх сказал:

— Я сам буду с тобой бороться!

В тот вечер брат мой и я сидели в дальнем конце длинного стола, среди женщин. От того конца

стола, где стоял трон, донеслось ошеломляющее слово "я", произнесенное голосом моего отца, и через мгновение — слово «сам».

Это были непристойности, которые мы с братом хоть и шепотом, но все же произносили в темноте своей спальни. Однако мы никогда не представляли себе, что услышим их в обеденном зале из уст самого септарха. В своем потрясении каждый из нас по-разному прореагировал на это. Стиррон непроизвольно дернулся и опрокинул свой бокал. Я же не смог сдержать сдавленный пронзительный смешок, в котором были и смущение, и восторг, и тут же заработал шлепок от одной из прислуживающих дам. Смех просто маскировал охвативший меня тогда ужас. Я едва мог поверить в то, что отцу ведомы такие слова, не говоря уже о том, что он осмеливается произнести их в таком величественном окружении. «Я САМ БУДУ БОРОТЬСЯ!» И эхо этих запретных слов все еще звенело во мне, когда отец быстро вышел вперед, сбросил свой плащ и стал перед огромным послом. Великан еще не успел опомниться от изумления, как септарх обхватил одной рукой бедро гиганта, применив искусный захват, популярный в Салле, и мгновенно поверг наземь хвастуна. Посол издал истошный крик,

так как одна его нога оказалась неестественно вывернутой. От боли и унижения великан стал бить ладонью по полу. Вероятно, сейчас во дворце моего брата Стиррона дипломатические встречи проводятся более искусно.

Септарх умер, когда мне было двенадцать лет, и именно в этом возрасте у меня проявились первые признаки мужского естества. Я был рядом с повелителем, когда смерть забрала его. Чтобы переждать дождливый период, отец каждый год уезжал охотиться в Выжженные Низины, в ту самую местность, где я ныне затаился в ожидании своей участи. Я никогда не отправлялся вместе с ним, но на этот раз мне было разрешено сопровождать отряд охотников, так как теперь я стал молодым принцем и должен был обучаться искусству своего класса. Стиррон, как будущий септарх, должен был овладевать другими знаниями. Он остался в качестве регента на время отсутствия отца в столице.

Экспедиция, состоящая приблизительно из двадцати наземных экипажей катилась на запад. Угрюмые грозовые облака низко нависали над ровной, сырой, насквозь продуваемой ветрами местностью. В тот год дожди были особенно жестокими. Они, как ножом, срезали тонкий

верхний слой драгоценной плодородной почвы, оставляя за собой обнаженные скалы, похожие на обглоданные кости. Повсюду фермеры ремонтировали заграждения и дамбы, но все было бесполезно. Я видел, как непомерно вздувшиеся реки стали желто-коричневыми от смытой водой земли — утраченного благосостояния Саллы. Хотелось плакать при мысли, что такие сокровища уносятся в море.

Когда мы оказались в западной части Саллы, узкая дорога стала подыматься по склонам холмов гряды Хаштор, и вскоре мы были уже в более сухой и прохладной местности, где с небес падал снег, а не дождь, и где не деревья, а просто палки торчали из ослепительной снежной белизны. Мы продолжали подъем по дороге на Конгорой.

Местные жители пением гимнов встречали проезжающего мимо септарха.

Гряда постепенно переросла в могучий хребет, и перед нами высились обнаженные вершины, подобно пурпурным зубам вспарывающие серое небо. В своих герметичных кабинах мы ежились от холода, хотя красота этой дикой местности заставляла забывать о дорожных неудобствах. С этой высоты можно было обозревать, как на карте, всю провинцию Салла, белизну западных

округов, темный хаос густо заселенного восточного побережья — все, уменьшенное во много раз, и поэтому какое-то нереальное. Я никогда еще не был так далеко от дома. И хотя мы были уже на весьма значительной высоте, внутренние пики горной системы Хаштор все еще лежали впереди нас и казались непрерывной стеной из камня, которая пересекала весь материк с севера на юг. И где-то далеко вверху сияли снежные вершины. Неужели нам придется взбираться на них, чтобы пересечь хребет, или существует какой-то проход? Я слыхал о Вратах Саллы, и мы как раз и направлялись к ним, однако мне частенько эти ворота казались просто мифом.

А мы все поднимались и поднимались, пока не стали задыхаться генераторы наших краулеров на морозном воздухе. Чтобы размораживать энергоустановки, мы были вынуждены часто останавливаться. Наши головы кружились от недостатка кислорода. Каждую ночь мы отдыхали в одном из лагерей, которые специально содержались для путешествующих септархов, но удобства в них были отнюдь не царскими. В одном из них, где весь обслуживающий персонал погиб за несколько недель до этого, погребенный лавиной, нам пришлось копать проход в

обледеневших сугробах, чтобы войти внутрь. Все в отряде были людьми знатными и все должны были орудовать лопатами, кроме разве что септарха, для которого физический труд был смертным грехом. Я был одним из самых высоких и сильных и копал гораздо энергичнее, чем другие. Но поскольку я был молод и горяч, то, недооценив свои силы, вскоре рухнул поверх своей лопаты и полумертвый лежал на снегу целый час, пока меня не заметили. Когда меня привели в чувство, подошел отец и подарил мне одну из столь редких своих улыбок. Тогда я воспринял это, как проявление глубокой привязанности, благодаря чему очень быстро оправился. Однако впоследствии я пришел к выводу, что это, скорее, был знак презрения с его стороны.

Но тогда его улыбка придала мне силы завершить это дьявольское восхождение. Меня больше уже не беспокоила мысль, сможем ли мы это сделать. Я знал, что сможем. По ту сторону гор я и мой отец будем охотиться на птицерогов в Выжженных Низинах, оберегая друг друга от опасности и сознавая нашу близость, которой прежде никогда не было за всю прожитую мною жизнь. Я говорил об этом в один из вечеров своему названому брату Ноиму Кондориту. Он ехал

в моем краулере и был единственным во всей Вселенной, кому я мог говорить о таких вещах.

— Можно надеяться, что я попаду в охотничью группу септарха, — сказал я. — Есть причины думать, что меня пригласят. Таким образом удастся сократить расстояние между отцом и сыном.

— Ты — мечтатель, — пожал плечами Ноим Кондорит. — Ты витаешь в облаках, друг мой.

— Приятнее было бы услышать слова ободрения от своего побратима, обиделся я.

Ноим был вечным пессимистом. Не обращая внимания на его суровость, я считал оставшиеся дни до прибытия к Вратам Саллы. Когда же мы достигли их, великолепие этого места застало меня врасплох. Все утро и еще несколько часов после полудня мы взбирались по тридцатиградусному склону горы Конгорой. Казалось, вечно придется ползти вверх, а гора все будет возвышаться над нами. Но тут наша походная колонка повернула влево и… краулеры один за другим стали исчезать из виду за поворотом дороги. Когда подошла очередь и нашего краулера, перед моими глазами предстала удивительная картина. Широкий пролом в горной стене, как будто некая космическая рука выломала целый угол Конгороя. И сквозь пролом ослепительное сияние. Это были

Врата Саллы — чудесный проход, через который прошли наши предки-переселенцы после странствий в Выжженных Низинах. Это было много сотен лет назад.

Когда мы наконец-то расположились на ночлег, Выжженные Низины оставались по-прежнему далеко внизу. Весь следующий день и еще один мы до смешного медленно спускались по головокружительному серпантину. Стоило чуть-чуть не так выжать какой-либо из рычагов управления — и машина бы полетела, переворачиваясь в воздухе, в бесконечную бездну.

С этой стороны хребта снега уже не было, и скалы выглядели удручающе голыми. Впереди повсюду земля была красной. Мы углублялись в пустыню, где от каждого вздоха першило в горле. Звери с причудливо искривленными туловищами в ужасе разбегались при нашем приближении. На шестой день мы достигли охотничьих угодий. Перед нами простиралось бесконечное пространство, изрезанное выемками, расположенными намного ниже уровня моря. Сейчас я нахожусь всего лишь в нескольких часах езды от того места.

Здесь птицероги устраивают свои гнезда. Они весь день без устали кружат над докрасна

обожженной почвой, выискивая добычу, а в сумерках быстро спускаются к земле, совершая сказочные спирали, и залегают в своих недоступных логовищах.

Я оказался в числе тех тринадцати человек, которые должны были составить группу септарха. — Везет! — торжественно сказал Ноим, и в глазах его, так же как и в моих, были слезы. Уж он-то знал, какие муки я испытываю из-за холодного отношения отца ко мне.

Перед восходом солнца все девять охотничьих групп двинулись в путь в девяти разных направлениях.

Считается постыдным охотиться на птицерогов поблизости от их гнезд.

Птица, как правило, возвращается нагруженной мясом для птенцов и поэтому неуклюжа и легко уязвима. В тот момент она лишена своей обычной грации и мощи. Убить обремененную тяжестью птицу не так уж и сложно, и только трусливый охотник не погнушался бы это сделать. Я хочу сказать, что вся прелесть охоты заключается в сопряженных с нею трудностях и риске, а не в том, чтобы добыть трофеи. Когда мы охотимся на птицерогов, то рассматриваем это как вызов судьбе, как проверку доблести и

умения.

Отвратительная же плоть этого создания нам безразлична.

Итак, охотники выходят на открытые низины, где даже зимнее солнце жжет немилосердно, где нет ни деревьев, дающих тень, ни родников, чтобы утолить жажду. Охотники рассеиваются во все стороны, один — тут, двое там, занимая позиции среди голой красной земли и предлагая себя в качестве добычи птицерогам. Эта птица парит на непостижимой высоте, так высоко над головой, что кажется всего лишь черной точкой на бриллиантовом куполе неба. Требуется острейшее зрение, чтобы обнаружить ее, хотя размах крыльев птицерога вдвое превышает человеческий рост. Со своей высокой позиции птицерог высматривает неосторожных обитателей пустыни. Ничто, сколь бы малым оно ни было, не ускользает от его сверкающих глаз. И как только он обнаруживает подходящую жертву, то начинает скользить по нисходящим потокам воздуха и, оказавшись на небольшой высоте, делает серию яростных кругов, как бы завязывая смертный узел над все еще ни о чем не подозревающей жертвой. Круги все уменьшаются, скорость птицы растет, пока в конце концов птицерог не

превращается в ужасное орудие смерти, молнией вырываясь из-за горизонта. Теперь жертва уже знает, что ее ждет, но ее мучения длятся недолго. Грозный шелест могучих крыльев и свист горячего воздуха предваряют тот миг, когда длинный смертоносный гарпун, растущий из лобовых костей птицы, находит свою цель и жертва попадает в объятия черных развевающихся крыльев.

Охотник надеется, что птицерог, делая круги, опустится достаточно низко и, таким образом, попадет в его, охотника, поле зрения. Обычно у него дальнобойное оружие, но главное — правильно рассчитать упреждение для столь дальнего расстояния. Азарт охоты на птицерога и заключается в том, что никто не знает точно, охотником он является или жертвой, так как птицерога во время его смертоносного бреющего полета нельзя увидеть, пока он не атакует жертву.

И вот я пошел вперед. Вот я стою с рассвета до полудня. Солнце, не скупясь, греет те места бледной кожи, которые я осмелился ему подставить.

Я одет в ярко-красный охотничий костюм из мягкой кожи. Время от времени я делаю несколько глотков из фляги, но не более, чем нужно, чтобы выжить.

Мне кажется, что на меня обращены взоры

моих товарищей, и я не имею права проявлять слабость у них на виду. Мы расположились двойным шестиугольником, отец — отдельно от остальных между этими двумя группами.

Случилось так, что моя позиция ближе всех к нему, но расстояние до него не менее сотни метров, и поэтому в течение утра септарх и я не обменялись даже парой слов. Он стоял твердо, широко расставив ноги, и наблюдал за небом, держа наготове ружье. Может, он и пил за время своего ожидания, но я лично этого не заметил. Я тоже изучал небеса, пока не заболели глаза, пока не почувствовал, что яркие горячие лучи будто сверлят мою голову, а кровь, как молот, стучит в затылке.

Не один раз мне казалось, что я вижу темную черточку тела птицерога, а однажды я даже был на грани того, чтобы поспешно поднять свое оружие.

Это навлекло бы на меня позор, потому что нельзя стрелять до тех пор, пока кто-то первый не закричит, что видит цель, и этим не закрепит свой приоритет. Я не выстрелил, а когда зажмурил глаза и напряг зрение, ничего не увидел в небе. Казалось, что в это утро птицероги находятся в каком-то другом месте.

В полдень отец дал сигнал, и мы разошлись по равнине на большее расстояние друг от друга, сохранив неизменным взаимное расположение.

Вероятно, птицерог полагал, что мы слишком скучены, и поэтому не решался на атаку. Моя новая позиция была сейчас на вершине невысокого земляного кургана, напоминающего по форме женскую грудь. Стоило занять ее, как страх объял меня. Мне казалось, что с этой видной позиции я немедленно подвергнусь нападению птицерога. Предчувствие было столь сильным, что мне с трудом удавалось держаться на ногах. Я дрожал и, чтобы хоть немного ободриться, еще плотнее сжимал ствол своего ружья. Я напрягал свой слух в надежде мгновенно обернуться и выстрелить до того, как меня поразит гарпун птицерога. И тут же я сурово укорял себя за малодушие, даже возносил благодарение за то, что Стиррон родился раньше меня, поскольку я, очевидно, непригоден унаследовать бремя септарха. Я напоминал самому себе, что за последние три года птицерогом не был убит ни один охотник. Я спрашивал самого себя: разве это справедливо, что я должен умереть таким молодым, на первой же своей охоте, тогда как другие, подобно моему отцу, охотятся уже тридцать сезонов и ничего с ними не случается?

Я пытался докопаться до истоков гнездящегося во мне ошеломляющего страха. Ведь все мои наставники не жалели сил, чтобы приучить меня к мыслям, что собственная личность — это бездна и что думать о себе — смертный грех.

Разве мой отец не подвергается такой же опасности? И разве он, будучи септархом, и причем прекрасным септархом, не потеряет гораздо больше, чем я — всего лишь мальчишка? Таким, и только таким образом мне все же удалось вышибить страх из души и наблюдать за небом, не думая о том, что гарпун птицерога уже, может быть, нацелен на мою спину. Теперь былой страх казался мне абсурдным. Я мог безбоязненно стоять здесь целыми сутками, если бы было нужно. И сразу же я был вознагражден за эту победу над собой: в неистово раскаленном небе я различил черную парящую черточку, царапинку на небесах. На этот раз это не было иллюзией, мои юные глаза вполне отчетливо рассмотрели крылья и рог. Другие видят птицу? Имею ли я право на попытку? Если я убью ее, септарх похлопает меня по спине и назовет меня своим лучшим сыном? Все остальные охотники соблюдали тишину…

— Объявляется заявка, — торжествующе закричал я, поднял ружье и стал прицеливаться,

вспоминая то, чему меня учили, дав волю подсознанию произвести расчет упреждения, прицелиться и выстрелить одним быстрым импульсом, прежде чем интеллект своей нерешительностью не испортит интуитивные действия.

И за мгновение до того, как я послал свой выстрел вверх, раздался неожиданный крик слева. Я выстрелил, совсем не целясь, и стремительно повернулся в ту сторону, где находился отец. Он наполовину был закрыт туловищем другого птицерога, который пропорол ему тело от живота до спины.

В воздухе клубились красные песчинки, поднятые с земли яростными ударами крыльев птицы, пытающиеся взлететь со своей жертвой. Но птицерог не в силах поднять человека, хотя это вовсе не предотвращает возможность их нападения на людей.

Я побежал, чтобы помочь септарху. Он все еще кричал. Я видел его руки, вцепившись в костлявое горло хищника. Когда же я подбежал к отцу — я был первым, — он лежал, неподвижно распростершись, а птица все еще яростно била его своим рогом, накрыв тело, как черным плащом. Я выхватил кинжал, срезал птицерогу голову и, отшвырнув ногой труп птицы, начал отчаянно

вырывать чудовищный гарпун из тела мертвого септарха. Теперь ко мне присоединились и другие. Когда я отошел от отца, они сомкнули плечи так, чтобы я не видел его труп, а затем, к моему явному неудовольствию, упали на колени передо мной и засвидетельствовали свое почтение.

Но, конечно же, Стиррон, а не я, стал септархом Саллы. Его коронация была великим событием, поскольку он, хотя и был еще молод, должен был стать главным септархом провинции. Остальные шесть септархов Саллы приехали в столицу — только в таких случаях их можно было лицезреть одновременно всех вместе, — и долгое время продолжались пиры и шествия со знаменами под звуки труб. Стиррон был в центре событий, а я где-то в стороне, как и следовало ожидать, хотя от этого у меня складывалось впечатление, что я подручный конюха, а не принц. Как только Стиррона возвели на трон, он предложил мне титулы, землю и власть, но фактически ожидал, что я не приму всего этого, и я не принял.

Если только септарх не убог умом, его младшим братьям лучше не оставаться вблизи него и не пробовать помочь ему править, потому что такая помощь зачастую оказывается нежеланной. У меня не было живых дядек со стороны отца, и мне

было все равно, что будут говорить обо мне сыновья Стиррона, поэтому я постарался побыстрее убраться из Саллы, как только закончился траур.

Я переехал в Глин, на родину моей матери. Здесь, однако, все сложилось не в мою пользу, и уже через несколько лет я вынужден был перебраться в насыщенную тяжелыми влажными испарениями провинцию Маннеран, где женился, произвел на свет двух сыновей и стал принцем не только по имени… Я жил здоровым и счастливым, пока не наступила пора перемен.

6

Пожалуй, нужно сказать несколько слов о географии моей планеты.

На нашей планете Борсен — пять материков. В этом полушарии — два:

Велада и Шумара, то есть Северный и Южный. Нужно долго плыть по морю, чтобы из любой точки Велады или Шумары добраться до материков другого полушария, носящих названия Умбис, Дабис, Тибис, то есть Первый, Второй, Третий.

Об этих трех дальних землях я могу рассказать вам лишь очень немногое. Они впервые были обследованы около семисот лет тому назад одним из септархов Глина, который поплатился жизнью за эту свою любознательность. С тех пор за все прошедшее время там не побывало даже пяти экспедиций. В том полушарии люди не живут. Умбис, говорят, очень похож на Выжженные Низины, но его природа еще скудное. Во многих его местах из земли вырываются факелы золотистого пламени. Дабис покрыт джунглями и болотами, источающими ядовитые испарения, что чревато для человеческого организма жесто-

кой, изматывающей лихорадкой. Когда-нибудь на Дабис будут совершать опустошительные набеги смельчаки-охотники, поскольку, как я слышал, там множество опасных зверей. Тибис покрыт льдами.

Мы не являемся расой, зараженной тягой к странствиям. Сам я никогда не стал бы путешествовать, если бы к этому меня не вынудили обстоятельства. И хотя кровь древних землян течет в наших жилах, а они были бродягами, чья одержимость гнала их в необъятные космические дали, мы, жители Борсена, стараемся оставаться поближе к дому. Даже я, в чем-то отличный от своих соплеменников, особенно образом мыслей, никогда не стремился повидать заснеженные пространства Тибиса или ядовитые топи Дабиса, кроме, вероятно, того времени, когда был ребенком и мне не терпелось увидеть все на свете. Для нас считается крупным событием поездка из Саллы в Глин, и очень мало тех, кто пересек материк, не говоря уже о том, чтобы отважиться поехать на Шумару, как это сделал я.

Как это сделал я!

Материк Велада является колыбелью нашей цивилизации. Формой он похож на гигантский прямоугольник с закругленными краями. Два

огромных У-образных выреза внедряются в его периферию вдоль всего северного побережья. Посредине расположен Полярный залив, а на юге, на противоположном побережье, — залив Шумар. Между двумя этими водными пространствами лежат Низины, так называют впадину, которая простирается через весь материк с севера на юг. Нет такой точки в Низинах, которая находится над уровнем моря, выше восьми метров, зато множество мест, в особенности в Выжженных Низинах, которые расположены намного ниже уровня моря.

На севере Низины называют Вымерзшими, поскольку они покрыты нетающими льдами. Здесь никогда не жил человек. Однако влияние севера не проникает далеко в глубь нашего материка. К югу от Вымерзших Низин лежат необозримые Выжженные Низины, где почти отсутствует вода и где всегда яростно жжет солнце. Две идущие с севера на юг горные системы не пускают туда ни одной тучки, а с горных склонов не стекают ни реки, ни ручьи. Почва ярко-красная, перемежающаяся отдельными желтыми полосами. В Выжженных Низинах произрастает несколько разновидностей низкорослых растений, неизвестно откуда берущих питательные вещества,

зато здесь много разных животных, причем причудливых, деформированных, малопривлекательных на вид.

В южной оконечности Выжженных Низин расположена глубокая, тянущаяся с востока на запад долина, пересечь которую можно только за несколько дневных переходов. А за нею лежит небольшая местность, известная под названием Влажные Низины. Насыщенные влагой ветры, дующие с залива Шумар, встречаются на своем пути с горячими яростными ветрами Выжженных Низин.

Сгущающиеся тучи сбрасывают здесь свою влагу, благодаря чему земля покрывается пышной, буйной растительностью. Эти ветры никогда не проникают в Выжженные Низины. В отличие от Вымерзших Низин сюда забредают охотники и те, кто путешествует по местам, расположенным между западным и восточным побережьями. Во Влажных Низинах живет несколько тысяч фермеров, которые выращивают здесь экзотические фрукты для горожан. Мне говорили, что непрестанный дождь привел к гниению душ этих людей. У них нет каких-либо правительственных учреждений, и наши обычаи самоотречения соблюдаются здесь плохо.

Я был бы сейчас среди них, если бы только мог проскользнуть сквозь кордоны, расставленные моими врагами к югу от этого места.

Низины обрамляют две обширные горные системы: Хашторы на востоке и Трайшторы на западе. Горы тянутся от северного побережья Велады, от берегов Северного Полярного моря, и идут на юг, постепенно изгибаясь, внутрь материка. Эти две горные системы обязательно бы встретились где-нибудь неподалеку от залива Шумар, если бы их не разделяло ущелье Стройн, через которое влажные ветры проникают во Влажные Низины с залива Шумар. Горы настолько высоки, что задерживают все ветры и дождевые облака.

Поэтому склоны их, обращенные внутрь материка, лишены растительности, зато склоны со стороны океанов очень плодородны.

Население материка Велада сосредоточено вдоль прибрежных полос между океанами и горами. В большинстве этих мест почва очень тощая, неурожайная, поэтому нам трудно обеспечить себя всей необходимой пищей и постоянно приходится бороться с голодом.

Часто меня удивляет, почему наши предки, попав на эту планету, избрали для поселения

Северный материк. Заниматься сельским хозяйством было бы намного легче на соседнем материке, то есть на Шумаре, и даже болотистый Дабис мог бы предложить людям гораздо больше жизненных удобств.

Вероятно, дело в том, что предки наши были суровыми и требовательными к себе людьми, которые получали удовлетворение от непрестанной борьбы с природой и боялись избаловать своих детей, поселившись в таких местах, где жизнь была бы недостаточно тяжелой. Берега материка Велада нельзя признать совсем уж непригодными для обитания, равно как и трудно счесть вполне благоприятными для жизни человека. Поэтому-то наши предки и выбрали эти места. О справедливости такого предложения свидетельствует, в первую очередь, то, что в наследство от древних нам достался взгляд на удобства, как на грех, и на досуг, как на проявление порочности.

Мой побратим Ноим, однако, считает, что первые поселенцы избрали Веладу только потому, что здесь случилось сесть их звездолету. Истратив все свои силы на то, чтобы пересечь необозримые просторы космоса, они не нашли в себе энергии на поиски лучшего места для поселения. Я со-

мневаюсь в этом, подобное утверждение весьма красноречиво характеризует иронический склад ума моего побратима.

Прибывшие сюда первыми обосновали на западном побережье, в месте, которое мы сейчас называем Трайш, то есть Земля Обетованная. Численность населения росла быстро, и поскольку это было упрямое и несговорчивое племя, раскол произошел довольно быстро: то одна его часть, то другая откалывалась от первопоселенцев. Таким образом, возникли девять западных провинций. До сих пор они яростно спорят друг с другом относительно своих границ.

Со временем ограниченные ресурсы запада были исчерпаны и началось заселение восточного побережья. Тогда у нас не было воздушного транспорта, правда, нет его в широких масштабах и сейчас. Наш народ не имеет наклонности к техническим новшествам, и здесь нет запасов природного топлива. Поэтому на запад люди двигались на краулерах или на других аппаратах подобного типа. Были открыты три прохода через горную систему Трайшторы, и смельчаки лихо двинулись в Выжженные Низины. До сих пор их подвиги воспеваются в величавых эпических поэмах. И хотя очень трудно было пересечь

Низины, перейти на другую сторону Хашторов оказалось почти невозможным, так как человеку был доступен только один проход — Врата Саллы, найти который было очень нелегко. Но проход все-таки отыскали, и люди двинулись дальше. Так возникла моя родина — Салла.

Затем опять наступили раздоры. Многие ушли на север и основали там Глин, другие предпочли юг и осели в священном Маннеране. Почти тысячу лет на востоке существовали только три провинции, пока после новой ссоры не возникло процветающее ныне приморское королевство Крелл, отхватившее кусок земли у Глина и кусок у Саллы.

Были еще люди из Маннерана, которых не устраивала жизнь ни в одной из провинций Велады. Они отправились на поиски нового прибежища и обосновались на Шумаре. Но об этом пока нет надобности говорить. Я многое расскажу еще о Шумаре и ее обитателях, когда приступлю к объяснению тех перемен, которые вошли в мою жизнь.

7

Эта будка, в которой я прячусь, весьма убога. Ее дощатые стены в свое время были сбиты как попало и теперь так потрескались, что на стыках зияют дыры и углы все перекосились. Ветер пустыни беспрепятственно продувает ее.

На этих моих страницах лежит тонкий красный слой пыли. Моя одежда уже полностью напиталась ею, и даже волосы имеют теперь красноватый оттенок.

Твари, живущие в Низинах, свободно сюда заползают. И сейчас я вижу, как две из них ползут по полу: одна — многоногое серое создание размером с мой большой палец, а другая — скользкая двухвостая змея чуть короче моей ступни. Уже много часов они лениво кружат вокруг друг друга, как смертельные враги, которым в тоже время никак не решиться на бой. Неплохая компания меня под жгучим солнцем пустыни.

Но мне все же не следует насмехаться над своим нынешним житьем-бытьем. Кто-то побеспокоился о том, чтобы затащить сюда строительные материалы и соорудить будку, очевидно, при-

званную служить приютом уставшим охотникам на этой негостеприимной земле. Кто-то сколотил ее, проявив, без сомнения, не столько плотницкое искусство, сколько человеческую любовь к своим собратьям, вынужденным пребывать под открытым небом. Может быть, это неподходящий дом для сына септарха, но я достаточно пожил во дворцах и мне больше уже не нужны каменные стены и сводчатые потолки. А здесь очень спокойно. Меня не тревожат крики мастеровых, разносчиков вина и торговцев, громко расхваливающих свой товар на улицах больших городов. Здесь человек в состоянии думать. Он может заглянуть внутрь себя, разобраться в тайниках собственной души и сделать необходимые выводы.

Обычаи нашей планеты запрещают раскрывать душу перед незнакомцами, да и перед друзьями тоже. Да, но почему никто до меня не заметил, что те же обычаи непременно сдерживают познание нами самих себя? Почти всю свою жизнь я воздвигал надлежащие социальные стены между собой и другими, и, пока не пали эти стены, я не видел того, что и от самого себя я замуровывался каменными кладками обычаев и условностей. Но здесь, в Выжженных Низинах, у

меня достаточно времени, чтобы поразмышлять обо всем и прийти к пониманию собственной души. Это, разумеется, не то место, которое я добровольно бы выбрал для себя, но несчастливым не могу себя назвать.

И не думаю, что здесь меня слишком быстро обнаружат.

Сейчас слишком темно, чтобы писать. Встану у двери хижины и буду смотреть, как ночь накатывается на землю. Возможно, вот-вот пролетит птицерог, стремясь в сумерках к родному гнезду после неудачной охоты.

Будут сверкать звезды. Швейц как-то пытался показать мне солнце Земли с одной из горных вершин на Шумаре и настойчиво просил проследить в направлении его указательного пальца. Но я полагаю, что он разыгрывал меня. Я думаю, что это солнце, солнце матушки-Земли, вообще нельзя увидеть из нашего сектора Галактики. Швейц довольно часто разыгрывал меня, когда мы вместе путешествовали. И, наверное, он не оставит это занятие, доведись нам встретиться снова, если только он еще…

8

Прошлой ночью ко мне во сне пришла моя названая сестра Халум Хелалам.

Вот уж относительно нее и речи не может быть о розыгрыше, так как она может проникнуть ко мне только сквозь скользкий туннель снов. Когда я сплю, ее образ сверкает в моем сознании ярче любой из звезд пустыни. Но пробуждение ввергает меня в печаль, наполняет стыдом, и приводит к осознанию ее потери, которая для меня невосполнима.

Халум из моих снов одета в легкую прозрачную ткань, сквозь которую видны ее маленькие розовые груди, стройные бедра и плоский живот — живот нерожавшей женщины. Нельзя сказать, что в жизни она часто так одевалась, тем более когда посещала своего названого брата. Но это была Халум моих снов, порожденных взбудораженной душой, измученной одиночеством. Это была искусительница с теплой, нежной улыбкой и темными сияющими глазами, которые светились любовью.

В сновидениях сознание существует на многих

уровнях. На одном из них я — обособленный наблюдатель, плавающий в ореоле лунного света где-то возле крыши моей хижины и глядящий сверху на свое собственное спящее тело.

На другом уровне я воспринимаю игру моего разгоряченного мозга как реальность, зримо ощущая присутствие Халум, а в то же время разум мой осознает, что все происходящее существует не наяву, а во сне. Но неизбежно некоторое смешение этих уровней, и поэтому я не могу быть точно уверенным, что сплю, а также не могу разобраться: является ли Халум, стоящая передо мной в таком лучезарном обрамлении, порождением моего воображения или живой Халум?

— Кинналл, — шепчет она, и мне грезится, что мой спящий разум пробуждается, что я приподымаюсь на локтях, а Халум опускается на колени рядом со мной. Она наклоняется вперед, пока ее упругие груди не соприкасаются с заросшей волосами грудью мужчины, которым являюсь я, и нежно притрагивается своими губами к моим.

— Ты выглядишь таким усталым, Кинналл.

— Тебе не следовало бы приходить сюда…

— Чувствовала, что нужна тебе, вот потому и здесь.

— Это неразумно. В одиночку отправиться в

Выжженные Низины для того, чтобы отыскать того, кто причинил тебе столько вреда…

— Связь, которая дарована нам, священна.

— Ты столько настрадалась из-за этой связи, Халум.

— Ну уж нет. Не приходится говорить о страданиях, — покачала она головой и поцеловала мой потный лоб. — Как ты, должно быть, страдаешь, скрываясь в этой мерзкой печке!

— Не более того, что заслужил, — ответил я.

Даже в своих снах я разговариваю с Халум, употребляя правильные грамматические формы. Мне всегда было очень трудно говорить с нею от первого лица. Разумеется, я не пользовался первым лицом глаголов и личного местоимения ни до того, как наступили во мне перемены, ни впоследствии, когда у меня не осталось причин быть столь целомудренным с нею. Моя душа и мое сердце диктовали мне "я", но язык и губы были замкнуты благопристойностью.

— Ты заслуживаешь гораздо большего, — сказала она. — Это место — не для тебя. Ты должен вернуться из изгнания. Ты должен внушить нам, Кинналл, новые заветы, заветы любви и доверия друг к другу.

— Существуют опасения потерпеть в качестве

пророка полный провал.

Имеются сомнения в том, стоит ли продолжать подобные попытки.

— Это было все так незнакомо для тебя, так ново! — воскликнула она. — Но ты оказался способным измениться, Кинналл, донести до сознания других необходимость перемен.

— Принести печаль другим и себе…

— Нет, нет. То, что ты пытался сделать, было правильным. Как же ты теперь можешь уступить?! Как же ты можешь отдать себя в руки смерти?! Ведь тебя сейчас ждет целая планета, нуждающаяся в том, чтобы ее освободили, Кинналл!

— В этом месте, как в западне. Поймают неизбежно.

— Пустыня огромна. Ты можешь ускользнуть от них.

— Пустыня огромна, но проходов очень мало и все они охраняются.

Убежать нельзя.

Она покачала головой, улыбнулась и, нежно прижав ладони к моим бедрам, сказала:

— Я отведу тебя в безопасное место. Иди со мной, Кинналл.

Звук этих "я" и «мной», которые слетели с уст

воображаемой Халум, потряс мою спящую душу подобно неожиданному удару грома. Услышав эти непристойности, сказанные ее нежным голосом, я от огорчения чуть не проснулся. Говорю вам об этом, чтобы было ясно, как трудно приобщиться к новому образу жизни, как глубоко гнездятся рефлексы воспитания в дальних уголках души. В сновидениях мы раскрываем свою подлинную сущность. И моя реакция оцепенелого отвращения к словам, которые я вложил (кто же другой мог бы это сделать?) в уста Халум в своем собственном сне, поведала мне о многом. Что случилось затем, было также откровением, хотя несколько грубым. Для того чтобы поднять меня с койки, руки Халум прикоснулись к моему телу. Тотчас же сердце мое исступленно забилось, казалось земля под нами затряслась так, будто Низины разламывались, а Халум вскрикнула от страха. Я потянулся к ней, но она уже стала нечеткой, нематериальной. Еще одна конвульсия планеты — и я потерял ее из виду, она исчезла. А ведь я так много хотел ей сказать, о стольном хотел ее расспросить. Проснувшись, я быстро поднялся по ступеням уровней моего сознания и, разумеется, обнаружил себя в одинокой жалкой хижине, сгорающим от стыда и неосуществлен-

ного желания.

— Халум! — кричал я. — Халум, Халум!

Хижина тряслась от моего крика, но она не возвращалась. И постепенно мой затуманенный сном мозг постиг правду, что Халум, которая посетила меня, была нереальной.

Мы, уроженцы Борсена, не в состоянии легко переносить подобные видения. Я встал, вышел из хибары в плотно окружившую меня густую тьму и принялся бродить босиком по теплому песку, стремясь хоть перед самим собой оправдаться в своих мыслях. Понемногу я стал успокаиваться. Постепенно равновесие вернулось ко мне. И все же я еще несколько часов сидел у порога хижины, пока первые зеленые щупальца зари не коснулись меня.

Вы, несомненно, согласитесь, что мужчина, отлученный от женского общества, живущий под постоянным гнетом, который я испытываю с момента своего бегства в Выжженные Низины, время от времени будет видеть во сне женщин и испытывать влечение к ним. В этом нет ничего неестественного. Я также уверен, хотя и не могу этого доказать, что многие мужчины Борсена во сне желают своих названых сестер. А происходит это просто потому, что наяву такие желания твер-

до и неукоснительно подавляются. И далее, хотя Халум и я наслаждались родством наших душ в намного большей степени, чем это характерно для названых братьев и сестер, я ни разу не искал с ней физической близости. Примите это на веру, если можете. На этих страницах я рассказываю вам о многом, что дискредитирует меня, не делая попыток утаить что-либо, для меня постыдное. Так что если бы была нарушена душевная связь с Халум, я рассказал бы вам и об этом. Вы должны верить мне и не судить за грехи, совершенные во сне.

Тем не менее я считаю себя виновным в том, что всю ночь и все утро был слаб духом и что камень лежал у меня на душе, когда я честно и правдиво излагал на бумаге события той ночи. Думаю, на самом деле тревожило меня не влечение к Халум во сне, которое, возможно, простят мне даже мои враги, а уверенность в том, что я повинен в смерти Халум. А этого я сам не в состоянии простить себе.

9

Возможно, следовало еще раньше сказать, что каждый мужчина Борсена, так же как и каждая женщина, нарекаются вскоре после рождения названными братом или сестрой. Никто из членов такой триады не может быть родственником друг другу. Все это является предметом особых забот родителей, поскольку названые брат и сестра обычно более близки, чем члены собственной семьи, связанные узами кровного родства.

Поскольку я был вторым сыном септарха, мое побратимство было делом большой государственной важности. Было бы в высшей степени демократично, но непрактично связать меня узами родства с ребенком крестьянина. Пользу из этого старинного обряда можно извлечь, если все побратимы находятся на одной и той же ступени социальной лестницы. Правда, меня не могли побратать с детьми другого септарха, так как в один прекрасный день судьба могла возвести меня на отцовский трон, а септарх не должен быть связан узами родства с царственным домом другой провинции, дабы не ограничивать его сво-

боду решений и поступков. Поэтому необходимо было организовать узы моего названого родства с детьми аристократов, но не родственников правящей династии.

Все было устроено названым братом моего отца Улманом Котрилем.

Это было последней услугой, которую он оказал моему отцу, поскольку сразу после моего рождения он был убит бандитами из Крелла. Для того, чтобы найти мне названую сестру, Улман Котриль отправился на юг, в Маннеран, и договорился о родстве с еще неродившимся ребенком Сегворда Хелалама, верховного судьи морского порта. Было определено, что ребенок Хелалама будет девочкой. Затем названый брат моего отца вернулся в Саллу и дополнил триаду будущим сыном Луинна Кондорита, генерала, который ведал охраной наших северных границ.

Ноим, Халум и я родились на одной и той же неделе, и мой отец лично исполнил обряд побратимства. Церемония проводилась во дворце септарха, причем рядом стояли доверенные лица Ноима и Халум. Позже, когда мы подросли, наше побратимство было подтверждено в присутствии друг друга.

Для этого меня возили в Маннеран, где я

впервые увидел Халум. И с тех пор мы редко разлучались. Сегворд Хелалам не возражал против того, чтобы его дочь воспитывалась в Салле, так как надеялся, что ей удастся сделать блестящую партию, сочетавшись браком с кем-нибудь из выдающихся лиц при дворе моего отца. В этом ему пришлось разочароваться, поскольку Халум так и не вышла замуж и, насколько мне известно, до самой могилы оставалась девственницей.

Такая схема братских уз давала возможность хоть какого-то бегства от вынужденного одиночества, в котором положено жить нам — жителям Борсена.

Вам теперь не мешало бы узнать — даже если вы инопланетянин, — что давным-давно был установлен обычай, который запрещал нам открывать свою душу перед другими. Если позволить слишком много говорить о себе, то, как полагали наши предки, это неизбежно приведет к потворству собственным слабостям, к жалости к самому себе и к разрушению личности. Поэтому нас приучали с детства держать все при себе и, дабы тирания такого обычая была еще более жестокой, запрещалось даже пользоваться такими словами, как "я" или «себе» во время обычных вежливых разговоров. Если у нас и возникают

проблемы, мы молча их улаживаем. Если нам присущи честолюбивые помыслы, мы их реализуем, не выставляя свои надежды напоказ. Если нас обуревают желания, мы стараемся удовлетворить их, самоотрекаясь, безлично. Из этих жестких правил делаются только два исключения. Можно открыто говорить только со своими исповедниками, являющимися церковными функционерами.

Кроме того, мы можем, в определенных пределах, открываться своим побратимам. Таковы обычаи нашего Завета.

Допускается поверять почти все своим названым брату и сестре, но нас учили соблюдать при этом определенный этикет. Например, для воспитанного человека считается неподобающим говорить от первого лица даже со своим побратимом… Какие бы ни делались интимные признания, мы обязаны выражать их с помощью допускаемых грамматических средств, не прибегая к вульгаризмам «самообнажающихся» натур.

В нашем языке «обнажать» означает раскрывать себя перед другими, под чем подразумевается, что открывается душа, а не плоть. Это расценивается как вопиющая грубость и наказывается социальным остракизмом, если не суровее.

«Самообнажающиеся» используют публично осуждаемые личные местоимения, присущие словарю обитателей дна общества. Как раз именно это я и делаю сейчас повсюду в тексте, который вы читаете. Хотя и разрешается обнажать свою душу побратиму, «самообнажающимся» считают кого-либо только тогда, когда он украшает свою речь непристойными "я" и «себе».

Кроме того, нас учили соблюдать взаимность во взаимоотношениях между побратимами. Мы не должны обременять их своими несчастьями, если сами не в состоянии облегчить их бремя подобным же образом. Дети часто поступают односторонне со своими побратимами. Один из них может подчинить себе своего побратима и болтать без умолку, не давая возможности тому высказать собственные тревоги. Но обычно это все довольно скоро приходит в состояние равновесия. Считается беспардонным нарушением правил приличия выказывать недостаточный интерес к своему побратиму. Я не знаю никого, даже среди самых слабоумных и эгоцентричных, кто был бы повинен в этом грехе.

Из всех запретов, касающихся побратимства, наиболее строго запрещена физическая близость названых братьев и сестер. На личную жизнь в

общем-то накладывается мало ограничений, и только на одно мы не в состоянии отважиться. По мне этот запрет ударил особенно мучительно. Не потому, что я жаждал Ноима (подобных устремлений у меня никогда не было, да и среди всех нас влечение к своему полу распространенно мало). Зато Халум всегда была источником моих сокровенных желаний, но не могла утешить меня ни как жена, ни как любовница. Долгие часы сидели мы вместе, ее рука в моей, рассказывая то, чего никогда не сказали бы кому-нибудь другому. И как легко мне было бы прижать ее к себе, коснуться рукой ее трепещущей плоти.

Но я никогда не пробовал сделать это. Воспитание и душевная закалка твердо удерживали меня. И даже после того как Швейц упоительной отравой своих речей изменил мою душу, я все еще продолжал считать тело ее священным. Но не стану отрицать своего вожделения к ней. Так же, как не могу забыть того потрясения, которое испытал в отрочестве, когда узнал, что из всех женщин Борсена мне отказано только в Халум, моей любимой Халум.

Я был чрезвычайно близок с Халум во всем, кроме физических отношений, и она была для меня идеальной названой сестрой. Искренняя,

уступчивая, любящая, прямая, ясная, лучистая, восприимчивая. Она была не только красавицей — кареглазая, с кожей цвета сливок, темноволосая, нежная и стройная; она также имела замечательную душу, представляющую собой удивительную смесь чистоты и мудрости. Думая о ней, я всегда мысленно вижу лесную прогалину в горах, окруженную вечнозелеными деревьями с темной хвоей, покрытую только что выпавшим девственно белым снегом и… искристый ручей, танцующий среди залитых солнцем валунов, и все это такое чистое, незапятнанное, ни от чего не зависящее. Иногда, когда я бывал с нею, я ощущал свое тело невообразимо толстым и неуклюжим, безобразно волосатым и чересчур мускулистым. Однако Халум словом, улыбкой, взглядом умела показать, что я несправедлив к себе, что сила и мужественность составляют неотъемлемую принадлежность мужчины.

В равной степени я был близок и с Ноимом. Во многом он был полной мне противоположностью: стройным, хитрым, осторожным, расчетливым, тогда как я тяжеловесен, излишне прямолинеен и несдержан. Даже когда я весь светился от радости, он был с виду каким-то тусклым. С ним, так же как и с Халум, я часто ощущал

себя неуклюжим (но не в физическом смысле, так как я довольно ловок и подвижен для мужчины моей комплекции). Точнее говоря, я ощущал свою духовную закостенелость. Мой названый брат был гибче, восприимчивее, хотя часто бывал в пессимистическом, почти подавленном настроении духа. Он смотрел на меня с такой же завистью, как и я на него. Он завидовал моей огромной силе и впоследствии как-то признался, что, глядя на меня, ощущает себя малодушным и ничтожным. Говоря о себе не прямо, а косвенно, он сознавался, что ленив, склонен к обману, суетен. Он часто ловил себя на том, что ежедневно совершает десятки низких поступков и что это настолько же не свойственно мне, насколько не свойственно человеку питаться собственной плотью.

Вы должны также понять, что Халум и Ноим по отношению друг к другу не были названными сестрой и братом. Их связывали только общие для них обоих узы со мной. У Ноима была своя названая сестра, а именно Тирга, а у Халум была названой сестрой девушка из Маннерана по имени Нальд. Благодаря подобным узам Завет образует цепь, которая туго скрепляет все наше общество. У Тирги тоже есть названая сестра, а у

Нальд соответственно названый брат и так далее, и так далее. Таким образом составляется громадная, если не бесконечная, последовательность родственных связей.

Очевидно, встречи с побратимами своих побратимов весьма часты, хотя на них не распространяются те привилегии, которые дает непосредственное братание.

Я часто встречался и с Тиргой, и с Нальд, но обычно это было не более чем дружественное раскланивание, хотя Ноим и Халум относились друг к другу с очень большой теплотой. Я даже некоторое время подозревал, что они поженятся, однако это мало распространенное явление, хотя и непротивозаконное. Ноим все же почувствовал, что я буду очень обеспокоен, если мой побратим разделит ложе с моей названой сестрой, и сделал все, чтобы их дружба не переросла в любовь.

Теперь Халум спит вечным сном под надгробным камнем в Маннеране, Ноим стал совершенно чужим для меня, возможно даже, моим врагом, а я нахожусь сейчас в Выжженных Низинах, и красный песок бьет мне в лицо, когда я пишу эти строки.

10

После того как мой брат Стиррон стал септархом, я, как вы уже знаете, отправился в провинцию Глин. Не скажу, что я сбежал, так как никто открыто не принуждал меня покинуть свою родную землю. Назову поэтому мой отъезд тактическим шагом. Я уехал, чтобы избавить Стиррона от последующих затруднений. В противном случае так или иначе я должен был умереть, а это легло бы тяжким камнем на его душу. В одной провинции не могут жить в безопасности два сына умершего септарха.

Глин был избран мною, поскольку обычно изгнанники из Саллы перебираются в Глин. Кроме того, семья моей матери имела там и власть, и солидное состояние. Я думал — впоследствии наивность моих предложений стала очевидной, — что смогу из всего этого извлечь для себя кое-какую выгоду.

Когда я уезжал из Саллы, мне было без трех лун тринадцать лет. Это считается порогом зрелости. Рост у меня уже был почти такой же, как и сейчас, хотя тогда я был намного стройнее и

далеко не так силен, как стал вскоре, да и борода моя пошла в полный рост попозже. Я немного знал историю и устройство общества, имел практическое представление об искусстве охоты и получил некоторую подготовку в области правосудия. К тому времени в моей постели побывала добрая дюжина девушек и трижды я познал, хоть и недолгие, но бурные томления несчастной любви.

Всю свою жизнь я строго соблюдал веления Завета, душой был чист, жил в мире с нашими богами и не нарушал наказов наших предков. В то время я самому себе казался искренним, смелым, способным, честным и неунывающим.

Мне казалось, что весь мир широко распахнут передо мною и будущее всецело находится в моих руках. С высоты своих тридцати лет, сейчас я понимаю, что юноша, покидавший Саллу, был наивен, легковерен, слишком горяч, а ум его был неразвитым и негибким. В общем, совершенно посредственный человек, который бы чистил рыбу в какой-нибудь рыбацкой деревне, если бы не огромная удача родиться вельможей.

Родину я покидал ранней осенью. Весной вся Салла оплакивала смерть моего отца, а летом приветствовала восшествие на престол нового

септарха.

Урожай, как обычно, в Салле был плохим. Поля ее камнем и галькой были богаче, чем зерном. И, как всегда, Салла-Сити был переполнен разорившимися отцами семейств, надеющимися разжиться хоть чем-нибудь от щедрот нового септарха. Тягучее горячее марево заволакивало столицу изо дня в день, и уже клубились тяжелые осенние тучи, плывущие, как по расписанию, со стороны моря. Улицы были пыльными, деревья рано начали сбрасывать свою листву, оросительные каналы закупорило пометом крестьянского скота. Все это было плохими признаками для Саллы в начале правления септарха, а мне лишний раз напоминало, что наступила пора уходить. Даже в самые первые месяцы правления Стиррон не мог унять бешеного нрава, и многие неудачливые государственные советники были уже брошены в темницу. Пока что я был обласкан при дворе. Меня обхаживали и ублажали, засыпали мехами и обещали обширные угодья в горах. Но сколько это могло продолжаться, сколько?

Сейчас Стиррон все еще испытывал какие-то угрызения совести, продиктованные тем, что он унаследовал трон, а мне ничего не досталось.

Пока брат относился ко мне очень мягко… Но

как только наступит голодная и холодная зима, все может измениться! Завидуя моей свободе от ответственности за людские страдания, он свой гнев может обрушить на меня.

Я достаточно хорошо знаю историю царственных династий. Братоубийства не раз случались прежде.

Поэтому я спешно подготавливался к бегству. Только Ноим и Халум были посвящены в мои планы. Я собрал те немногие вещи, которые были мне особенно дороги: обручальное кольцо, завещанное мне отцом, любимую охотничью куртку из желтой кожи и двойной амулет-камею с изображениями названых брата и сестры. От всех своих книг я отказался, так как книги можно достать в любом месте. Не взял я и гарпун птицерога, мой трофей в тот день, когда погиб отец… гарпун, который висел в моей спальне во дворце.

На моем счете значилась довольно крупная сумма денег, депонированных в Королевском банке Саллы. Как мне казалось, я поступил с ними довольно ловко. Сначала я перевел основную часть этих денег в шесть мелких провинциальных банков, причем это отняло у меня немало дней. Держателями новых вкладов стали Ха-

лум и Ноим. Затем Халум произвела изъятие, запросив, чтобы деньги были переведены в Торгово-Промышленный банк Маннерана на счет ее отца Сегворда Хелалама. Если перевод и будет обнаружен, Халум заявит, что отец ее потерпел некоторые денежные убытки и на короткий срок попросил у нее взаймы. Как только мои активы оказались на счету в Маннеране, отец Халум, согласно предварительной договоренности с дочерью, снова перевел деньги, на этот раз на мое имя в банк Глина. Таким окольным путем я получил в Глине свои деньги, не возбудив при этом интереса чиновников Казначейства, которых могло бы насторожить, что принц царствующего дома переводит унаследованные им деньги в соперничающую с Саллой провинцию на севере. Если бы Казначейство обеспокоилось утечкой капитала в Маннеран, допросило бы Халум и сделало запрос ее отцу, то в результате выяснилось бы, что Сегворд преуспевал в делах и не нуждался в «займе». Это, конечно же, привело бы к дальнейшему расследованию и, вероятно, к моему разоблачению. Но судьба ко мне благоволила. Все мои маневры остались незамеченными.

Наконец я пошел к брату испрашивать разрешения на отъезд из столицы, как того требовал

придворный этикет.

Все это было очень тонким делом. С одной стороны, моя честь не позволяла мне лгать Стиррону. С другой же стороны, я не мог рассказать ему всей правды. Много часов я провел вместе с Ноимом, снова и снова повторяя свои беспомощные, сомнительные хитрости. Я был плохим учеником курса софистики. Ноим плевался, ругался, плакал от злости, всплескивал руками, каждый раз, когда ему удавалось своими хитроумными вопросами прорвать мою защиту.

— Ты не рожден быть лжецом, — сказал он, наконец, в отчаянии.

— Это правда, — согласился я. — У меня не было намерений стать лжецом.

Стиррон принял меня в северной Судебной Палате — темной, скромно обставленной комнате со стенами из неотесанного камня и узкими окнами, которая, главным образом, использовалась для встреч с деревенскими старостами. Не думаю, что он задался целью унизить меня этим. Просто брату случилось там быть, когда я послал к нему шталмейстера с запиской, где просил о встрече.

День клонился к закату, снаружи моросил противный дождь. Где-то в дальней башне звонарь инструктировал своих подмастерьев, и тяжкий

колокольный звон, зловеще искаженный, вместе со сквозняком проникал через толстые стены. Стиррон был в официальном своем одеянии — широкой мантии из прочного меха песчаной кошки, узких красных шерстяных перчатках с крагами, высоких сапогах из зеленой кожи. На боку висела шпага Завета. На груди сверкал массивный кулон — знак высшей власти. Вокруг правого предплечья, если память мне не изменяет, красовался еще один знак власти. Из всех его регалий недоставало только короны. Я часто видел Стиррона, облаченного таким образом во время торжественных церемоний и официальных встреч. Но то, что он напялил на себя все эти знаки различия в обычный день, поразило меня своей претенциозностью и показалось несколько комичным. Неужели его положение кажется ему настолько непрочным, что без всего этого барахла он не ощущает себя на самом деле септархом? Неужели ему необходимо производить впечатление на собственного младшего брата? Или он, подобно ребенку, получает удовольствие от этих украшений? Но какова бы ни была причина, в характере моего брата обнажился некий изъян, выявилась порожденная внутренним самодовольством глупость. Меня поразило, что он

казался не столько внушающим страх, сколько смешным. Вероятно, отправной точкой моего последующего бунта послужило именно то, что мне стоило больших усилий сдержать смех, увидев Стиррона во всем его царском великолепии.

Полгода на троне септарха оставили сильный след на его лице. Оно стало серым, левое веко, скорее всего от усталости, дергалось. Тесно сжав губы, он стоял в напряженной позе, причем одно плечо было выше другого.

Хотя всего два года разделяли нас, я чувствовал себя мальчиком рядом с ним и удивлялся тому, как государственные заботы могут изменить внешний вид человека. Казалось, века прошли с той поры, когда мы со Стирроном смеялись в своих спальнях, шепча запретные слова, и обнажали друг перед другом свои созревающие тела, чтобы сравнить признаки возмужания. Теперь я выражал формальное почтение своему усталому царствующему брату, скрестив руки на груди, подогнув колени и склонив голову, бормоча при этом:

— Септарх-повелитель, долгих тебе лет жизни.

Стиррон, проявив при этом обычные человеческие чувства, встретил мое формальное обращение к нему братской улыбкой. Он, ра-

зумеется, сначала отвечал на мое приветствие надлежащим образом, то есть подняв руки ладонями наружу, но затем быстро пересек комнату и обнял меня. Однако в его жестах было что-то искусственное. Как будто он заранее отрепетировал дружескую встречу с родным братом. Освободив меня от своих объятий, он отошел немного в сторону и, глядя в окно, произнес:

— Пакостный день, не так ли? Ужасный год!

— Тяжела корона, Септарх-повелитель?

— Ты что не в состоянии обращаться к брату по имени?

— Не можешь скрыть своего тревожного состояния, Стиррон? Наверное, ты принимаешь проблемы Саллы слишком близко к сердцу.

— Народ голодает, — сказал он. — Разве можно притворяться, считая это безделицей?

— Народ всегда голодал и раньше, год за годом, — возразил я. — Но если септарх иссушит свою душу в тревоге об этом…

— Хватит, Кинналл, — прервал меня септарх. — Ты многое себе позволяешь!

Теперь в тоне его голоса не было и намека на братские чувства! Ему было трудно скрыть раздражение. Он был откровенно разгневан тем, что я заметил его усталость, хотя именно он

начал наш разговор с жалоб. Похоже, наш разговор пошел совсем не в том направлении, чтобы принять интимный характер. Состояние нервов Стиррона вовсе не входило в сферу моих забот. В моем положении не я должен был утешать его. Для этого у него был побратим.

Моя попытка проявить сочувствие была неуместной и неподобающей.

— Так что же тебе нужно? — грубо спросил он.

— Разрешение септарха-повелителя на отлучку из столицы.

Он мгновенно отвернулся от окна и пристально посмотрел на меня. Глаза его, до этого хмурые и вялые, сверкнули, стали жесткими и беспокойно забегали из стороны в сторону.

— Отлучиться? Куда же? И зачем?

— Чтобы сопровождать побратима Ноима до северной границы, — сказал я, стараясь не заикаться. — Ноим хочет посетить штаб-квартиру своего отца, генерала Луинна Кондорита, которого он не видел со дня коронации повелителя. Чувство любви и братские узы велят поехать с ним на север.

— Когда же ты собираешься отправиться в путь?

— Через три дня, если только это будет угодно

септарху.

— И сколько будешь там находиться? — Стиррон прямо-таки обрушивал на меня поток вопросов.

— До первого зимнего снега.

— Слишком долго, слишком долго.

— Отлучку можно сократить.

— А должен ли ты вообще покидать столицу?

Колени мои задрожали. Мне с трудом удавалось оставаться спокойным.

— Стиррон, учти, что твой брат не покидал Саллу ни на один день с тех пор, как ты занял трон септарха. Подумай о том, как побратиму тяжело одному пересекать холмы севера.

— А ты учти, что являешься наследником главного септарха Саллы! вскричал Стиррон. — И если с твоим братом случится что-то, пока ты будешь на севере, наша династия может прерваться.

Холод в его голосе, сменившийся свирепостью, с какой он вел допрос мгновением раньше, повергли меня в панику. Почему он так противится моему отъезду? Мое воспаленное воображение придумывало десятки причин явной враждебности брата. Он узнал о переводе моих вкладов и из этого сделал вывод, что я хочу сбежать в Глин? Или он вообразил, что Ноим и я с помощью войск

отца Ноима хотим поднять мятеж на севере с целью посадить меня на трон? Или он уже решил арестовать и уничтожить меня, но для этого еще не наступило благоприятное время, и поэтому он не хочет отпускать меня туда, куда ему будет очень трудно дотянуться? Или? Но я мог до бесконечности умножать свои предположения. Мы, уроженцы Борсена, люди подозрительные, и наименее доверчивы те, на ком корона. Если Стиррон не отпустит меня из столицы, а было похоже, что дело идет к тому, мне не удастся благополучно осуществить свой план.

— Вряд ли есть причины предполагать, что произойдет какое-то несчастье! — как можно тверже сказал я. — Но даже если это и произойдет, то невелика задача вернуться с севера! Неужели ты серьезно опасаешься незаконного захвата власти?

— Приходится бояться чего угодно, Кинналл, и избегать малейшего риска.

Затем он долго поучал меня соблюдать предельную осторожность, говорил о честолюбивых замыслах тех, кто окружает трон, назвав нескольких вельмож как возможных предателей, а я — то считал их столпами нашей септархии. И пока он говорил, далеко преступая все ограни-

чения, налагаемые Заветом (разве можно столь откровенно раскрывать передо мной свою нерешительность), я с удивлением понял, каким измученным и напуганным человеком стал мой брат за то недолгое время, которое прошло с момента его возведения на трон септарха. И я также понял, что разрешение на отлучку не будет мне даровано. Брат же все продолжал и продолжал свои откровенные признания. Не в силах скрыть свое волнение он потирал атрибуты власти, несколько раз хватался за скипетр, лежащий на старинном столе, покрытом сверху пластиком. Он поминутно подходил к окну и возвращался назад, не переставая при этом говорить, то повышая, то понижая голос. Я испугал его.

Он был мужчиной примерно моего роста и в то же время плотнее и сильнее, чем я. Всю жизнь я боготворил его, стараясь во всем быть на него похожим. Теперь же передо мной был растерявшийся человек, пропитанный страхом и совершающий грех «самообнажения», рассказывая мне об этом.

Неужели одиночество, удел септархов, столь для него ужасно? На Борсене мы одиноки от самого рождения, живем в одиночестве и умираем в одиночестве.

Почему же с ношением короны обычное бремя одиночества, которое мы взваливаем на себя каждодневно, воспринимается гораздо труднее? Стиррон рассказывал о заговорах с целью убийства, о назревающей революции среди крестьян, наводнивших город. Он даже намекнул на то, что смерть нашего отца не была несчастным случаем. Попробовал бы кто-нибудь так выдрессировать птицерога, чтобы он убил вполне определенного человека из группы в тринадцать человек! Такая нелепая мысль отвергалась мной всецело.

Похоже, что ответственность, налагаемая на правителя, довела Стиррона до безумия. Я вспомнил о герцоге, который несколько лет назад, вызвав неудовольствие моего отца, на полгода был посажен в темницу, где подвергался пыткам каждый солнечный день. Он вошел в камеру заточения крепким и энергичным молодым человеком, а вышел из нее до такой степени развалиной, что гадил прямо под себя, не осознавая этого. Сколько времени понадобится Стиррону, чтобы дойти до такого же состояния? Возможно, подумал я, это даже хорошо, что он отказал мне в разрешении на отъезд, потому что лучше остаться в столице и быть готовым занять его место, если он совершенно не способен будет владеть

своими чувствами.

Но в самом конце своих разглагольствований Стиррон еще больше удивил меня, когда хрипло прокричал:

— Дай клятву, Кинналл, что вернешься с севера как раз ко времени моей свадьбы!

Этого я не ожидал. Последние несколько минут я было уже начал разрабатывать новые планы, основываясь на том, что остаюсь в Салле. Теперь же, когда я получил разрешение покинуть столицу, во мне пропала уверенность в том, что следует уезжать, оставив Стиррона в столь жалком состоянии. Да к тому же он требует от меня вернуться к определенному сроку! Но как я могу дать септарху такое обещание, не солгав ему при этом?

Этот грех я не готов был совершить. До сих пор я говорил брату, хоть частично, но правду. Я действительно намеревался направиться на север вместе с Ноимом и навестить там его отца. Я на самом деле оставался бы на севере до первого снега, хотя и не стал после этого возвращаться в столицу.

Стиррон должен был жениться через сорок дней на младшей дочери Бриггила, септарха юго-восточного округа Саллы. Этот брак был довольно искусным дипломатическим ходом. В табели о

рангах, устанавливающей традиционный порядок старшинства, Бриггил являлся седьмым и самым последним из септархов. Но он был самым старым, самым мудрым и наиболее уважаемым из всех правителей этой области Борсена. Престиж Бриггила в сочетании с престижем выпавшего на долю Стиррона положения главного септарха чрезвычайно укрепил бы нашу династию. Естественно, в самом скором времени дочь Бриггила народит сыновей, освободив меня тем самым от сомнительных привилегий «условного наследника». Ее способность к деторождению была доказана соответствующей проверкой… Что же касается Стиррона, то по всей Салле были разбросаны его незаконнорожденные отпрыски. Мне отводилась определенная роль во время церемонии бракосочетания, как брату септарха. Вот поэтому Стиррон и настаивал на моем возвращении в Саллу через сорок дней.

Я совсем забыл об этой свадьбе. Отказ присутствовать при свадебном обряде очень огорчил бы брата, что и меня лишило бы покоя. Но где гарантии, что, оставшись рядом со Стирроном, душевное состояние которого так неустойчиво, я окажусь в живых и на свободе ко дню свадьбы. Нет также ни малейшего смысла отправляться

вместе с Ноимом на север, связав себя обещанием вернуться через сорок дней. Сейчас передо мной стоял трудный выбор: либо отложить свой отъезд с вытекающим отсюда риском стать возможной жертвой царских капризов моего брата, либо уехать, взяв на себя моральную ответственность за нарушение нарушения данного септарху обещания.

Завет учит нас смело встречать возникающие трудности, ибо только это закаляет характер, давая возможность находить верное решение проблем, казавшихся неразрешимыми.

И в это мгновение Случайность посмеялась над высокопарными этическими поучениями Завета. Пока я мучился в нерешительности, зазвенел телефон.

Стиррон схватил трубку и минут пять слушал с напряженным вниманием, при этом лицо его стало мрачным, во взгляде появились молнии. Положив трубку, он взглянул на меня так, словно я был абсолютно чужим для него.

— В Спою уже едят мясо только что умерших, — пробормотал он. — На склонах Конгороя танцуют до исступления в надежде, что будет ниспослана пища. Безумие! Миром овладело Безумие!

Он сдавил кулаки, бросился к окну, прижался

к нему лицом, закрыв глаза, и, как я полагаю, на некоторое время позабыл о моем присутствии.

Затем опять зазвонил телефон. Спина Стиррона дернулась, как будто его ранили. Он повернулся и подбежал к аппарату. Заметив меня, застывшего у двери, он нетерпеливо стал махать руками и кричать:

— Так что же?... Ты уходишь? Ну и черт с тобой! Отправляйся куда хочешь со своим побратимом. Оставляй меня одного! О, отец, отец!

Он схватил трубку. Я попытался было преклонить колени перед тем, как уйти, но Стиррон яростно замахал руками, давая понять, чтобы я убирался из комнаты. Так я и ушел, не дав ему никаких обещаний.

11

Ноим и я отправились из столицы через три дня. Нас сопровождала только небольшая группа слуг. Погода была плохая, сухое лето быстро сменилось холодными осенними дождями.

— Вы помрете от плесени, прежде чем увидите Глин, — сказала Халум, либо утонете в грязи Главного Шоссе Саллы.

Последний вечер перед нашим отъездом она провела с нами, в доме Ноима. Маленькая комнатка под крышей послужила ей в ту ночь спальней.

Позавтракали мы все вместе. Никогда я не видел ее более прелестной, чем тогда. В то утро она была воплощением сверкающей красоты, которая озаряла хмурый рассвет как факелом. Возможно, я неосознанно увеличивал степень ее привлекательности в своих глазах, зная, что она вот-вот уйдет на неопределенное время из моей жизни, и ощущая горечь от этой потери. Она была одета в тонкое золотистое платье, плотно облегающее ее фигуру, и каждый изгиб ее тела возбуждал во мне недостойные помыслы, от

которых я не знал куда деваться. Халум была в самом соку своей юной женственности.

Такой она была уже несколько лет. Я даже поражался тому, что она до сих пор оставалась незамужней. Хотя я, Ноим и она были одного возраста, ее детство закончилось, как и положено девочкам, раньше, чем у нас.

Непроизвольно я привык думать о ней, как о старшей сестре. Когда у нее уже были тугие женские груди и месячные, у нас с Ноимом еще не было волос ни на теле, ни на щеках. И пока мы догоняли ее в своем физическом созревании, она становилась все более и более взрослой. Голос у нее стал глубже и ниже, в движениях появилась плавность. Было невозможно отказаться от представления о ней, как о старшей сестре, которая вскоре станет чьей-либо невестой, чтобы не перезреть и не прокиснуть в девичестве. Неожиданно у меня появилась уверенность в том, что Халум выйдет замуж, пока я буду в Глине. Мысль о некоем потеющем от страсти незнакомце, обладающем ею, вызвала у меня такой приступ тошноты, что я отвернулся от нее и бросился к окну вдохнуть влажный воздух в свои трепещущие легкие.

— Тебе нехорошо? — участливо спросила Ха-

лум.

— Как-то неловко, сестра.

— Но определенно нет никакой опасности. Ведь тебе даровано разрешение септарха отправиться на север.

— Нет документа, который можно было бы предъявить, — напомнил Ноим.

— Но ты же сын и брат септарха! — вскричала Халум. — Какая дорожная стража посмеет шутить с тобой?

— Правильно, — согласился я. — У меня не должно быть оснований для страха. Нет, это просто какое-то чувство неопределенности. Не забудь, Халум, что сейчас начинается моя новая жизнь, — попробовал я улыбнуться. — Ну что ж, пора уже отправляться!

— Побудь еще немного, — взмолилась Халум.

Но мы были неумолимы. На улице нас уже ждали слуги с подготовленными краулерами. Халум обняла нас, прижавшись сначала к Ноиму, затем ко мне, потому что именно я никогда не вернусь сюда. Когда она оказалась в моих объятиях, я был ошеломлен той откровенностью, с которой она предлагала себя: губы к губам, живот к животу, грудь к груди. Стоя на носках, она с силой прижималась своим телом к моему. На

какое-то мгновение я ощутил ее дрожь, а затем и сам затрепетал. Это был вовсе не поцелуй сестры и тем более не поцелуй названой сестры. Это был страстный поцелуй новобрачной, провожающей своего молодого мужа на войну, с которой — она это знала — ему не суждено вернуться. Я был обожжен этой вспышкой страсти. Будто спала какая-то завеса. Ту Халум, которая бросилась ко мне, я не знал до сих пор.

Она горела зовом плоти, не в силах таить в себе запрещенное вожделение к брату. Или я все это только вообразил?

В это единственное, казавшееся вечностью мгновение Халум отбросила сдержанность и позволила рукам и губам сказать мне правду о своих чувствах. Но я не мог ответить ей подобным же образом. Мое воспитание не позволяло мне относиться к названой сестре иначе, чем предписывалось Заветом. Я оставался холоден, хотя мои руки и обнимали ее тело. Вероятно, на миг я чисто инстинктивно оттолкнул Халум от себя, пораженный ее страстью. Но может, и не было никакой страсти, а была лишь горечь расставания? В любом случае этот порыв Длился недолго, руки Халум ослабли, и я освободился от объятий. Теперь она казалась брошенной и застывшей от

недоумения, будто я жестоко обидел ее, отказавшись от того, что она так щедро давала.

— Пора! — нетерпеливо сказал Ноим.

Пытаясь как-то спасти положение, я слегка прикоснулся своей ладонью к прохладной кисти Халум, словно давая ей какое-то обещание… При этом я натянуто улыбнулся, она ответила скованной, неестественной улыбкой.

Возможно, мы бы и обменялись парой сбивчивых слов, но Ноим схватил меня за локоть и с силой повел за собой.

Так началось мое путешествие за пределы родной земли.

12

Я настоял на том, чтобы исповедаться, прежде чем мы уедем из Саллы.

Раньше это не входило в мои намерения, и теперь Ноима раздражала непредвиденная задержка. Однако страстное желание найти утешение в религиозном обряде росло во мне по мере того, как мы приближались к окраинам столицы.

Мы уже почти час были в пути. Дождь усилился, порывистый ветер с хлопаньем бил в ветровые стекла наших краулеров. На замощенных булыжниками улицах было скользко, и ехать приходилось довольно осторожно. Ноим вел одну из машин, я уныло восседал рядом с ним. Другая машина, в которой помещались слуги, ползла вслед за нами. Было раннее утро, и город еще спал. Созерцание каждого квартала, по которому мы проезжали, отзывалось щемящей болью в сердце, будто что-то насильственно отторгали от меня. Вот исчез дворцовый ансамбль, затем шпили Судебной Палаты, огромные коричневые здания университета, церковь, где мой отец

приобщил меня к Завету, Музей Человечества, который я столь часто посещал со своей матерью, чтобы полюбоваться на великолепие дальних звездных систем. Проезжая вдоль прекрасного жилого массива, который раскинулся по берегам канала Сканген, я скользнул взглядом по фасаду вычурного дворца-резиденции герцога Конгорой-ского, где на шелковых простынях в спальне его красавицы дочери потерял невинность не так уж много лет назад.

В этом городе я прожил всю свою жизнь и, может быть, больше никогда его не увижу. Воспоминания о прошлых днях сотрутся со временем и исчезнут из памяти, как исчезает верхний слой почвы с унылых полей Саллы, смываемый безжалостными зимними дождями. С детства я знал, что в один прекрасный день брат мой станет септархом и в этом городе больше уже не будет для меня места. И все же я надеялся, что такое произойдет не скоро, а может быть, и вовсе не произойдет. И вот мой отец лежит в богато украшенном гробу, брат согнулся под тяжким бременем короны, я же вынужден покидать Саллу, еще не начав жить по-настоящему. И такая жалость к самому себе охватила меня, что я даже не осмелился заговорить с Ноимом. Хотя не для

того ли побратим, чтобы облегчать перед ним свою душу? Когда мы очутились на древних улицах Старого Города, невдалеке от городских стен я заметил обшарпанную церковь и сказал Ноиму:

— Останови здесь, на углу. Нужно зайти и облегчить душу.

Ноим продолжал вести машину, как будто ничего не слышал.

— Разве можно отказывать в праве на общение с Богом? — пылко произнес я. И только тогда, весь внутри кипя, он остановил машину и дал задний ход, чтобы я смог выйти у самой церкви.

Здание церкви уже давно нуждалось в ремонте. Надпись рядом с дверью была неразборчивой. Мостовая перед церковью была в трещинах и выбоинах.

Старый Город Саллы насчитывает более чем тысячелетнюю историю. Некоторые из домов сохранились с момента основания столицы, хотя большинство превратилось в развалины. Жизнь в этом районе по сути прекратилась, когда один из средневековых септархов счел нужным построить свой дворец, существующий и поныне, на вершине холма Сканген. По ночам Старый Город заполняют толпы искателей наслаждений, которые хлещут голубое вино в подвальных

помещениях кабаков. Однако в этот ранний туманный час здесь было довольно угрюмо. Безглазые каменные стены окружали меня со всех сторон — в Салле вместо окон принято прорубать узкие щели, но в Старом Городе своеобразие нашего строительства доведено до крайности.

Вряд ли в этой церкви исправна сканирующая установка, оповещающая о приближении очередного прихожанина. Однако мои тревоги оказались напрасными. Когда я подошел к двери церкви, они широко распахнулись и показался высокий костлявый мужчина в облачении исповедника. Он был, разумеется, уродлив. Разве кто-нибудь видел красивого исповедника? Это профессия для тех, кого не удостаивают любовью женщины. У духовника, который сейчас находился передо мной, были зеленоватого оттенка кожа, изрытая оспинами, сморщенный заостренный нос и бельмо на одном глазу отличительный знак, свидетельствующий о роде его занятий. Он презрительно смотрел на меня и, казалось, уже жалел о том, что открыл дверь.

— Благоволение всех богов да будет с вами, — сказал я. — Есть необходимость в Вас.

Он оглядел мое дорогое платье, кожаную куртку, отметил, несомненно, обилие украшений,

оценил мои размеры и щегольские замашки и, очевидно, пришел к заключению, что какой-то хулиган из аристократов забрел покуражиться в эти трущобы.

— Еще очень рано, — сказал он с тревогой в голосе. — Вы поторопились прийти за утешением.

— Нельзя отказывать страждущему!

— Еще слишком рано…

— А ну, давайте, впускайте. Разве не видите, что перед вами стоит растревоженная душа?

Он уступил, в чем я и не сомневался. Сильно морща свое лицо, украшенное длинным носом, он пропустил меня внутрь. Помещение наполнял запах тления. Старинные деревянные панели были покрыты влажными пятнами, драпировка стен кое-где сгнила, мебель была изгрызена насекомыми. Церковь была тускло освещена. Жена исповедника, такая же безобразная, как и он сам, прошмыгнула мимо нас и исчезла. Он провел меня в исповедальню небольшую сырую комнатенку, отделенную от жилого помещения, и оставил на коленях перед потрескавшимся и пожелтевшим зеркалом, пока сам зажигал свечи. Затем он облачился в рясу и вышел ко мне. Я продолжал стоять на коленях.

Он назвал свою цену, и я открыл рот от изум-

ления.

— Любую половину, — через минуту смог вымолвить я, оправившись от такого потрясения.

Он снизил цену на одну пятую. Когда я снова отказался, он предложил мне поискать другого священника, но я не подымался с колен и он, поворчав немного, снизил стоимость своих услуг. Но даже теперь она была в раз пять больше обычной таксы, взимаемой с обитателей Старого Города, но он догадывался, что у меня водились деньги. Вообразив, как негодует из-за задержки Ноим, сидя в кабине краулера, я решил больше не торговаться с этим кровососом.

Я согласно кивнул головой, и священник удалился, чтобы принести договор. Я уже говорил, что мы, уроженцы Саллы, люди подозрительные.

Верить на слово у нас не принято, предпочитаем заключать контракты. Слово значит для нас не больше, чем мимолетное сотрясение воздуха. Прежде чем солдат уложит девку в постель, они договорятся об условиях сделки и занесут обоюдные требования на бумагу.

Исповедник протянул мне стандартный бланк, ряд пунктов которого гарантировал сохранение сказанного на исповеди в строжайшей тайне.

Кроме того, здесь было написано, что исповедник есть не кто иной, как просто посредник между кающимся грешником и богом.

Но, кроме этих пунктов, со стороны исповедующегося были обязательства не требовать от исповедника ответственности за те сведения, которые ему придется выслушать: не привлекать его к судебным или каким-либо иным разбирательствам в качестве свидетеля, и так далее и тому подобное.

Я подписался, затем подписался священник. Мы обменялись копиями и я вручил ему плату.

— Какого бога вы хотели бы выбрать? — начал он.

— Бога, покровительствующего путешественникам, — ответил я. (Должен заметить, что у нас не принято называть вслух имена богов).

Он зажег свечу соответствующего цвета — розового — и поставил ее перед зеркалом. Считалось, что благодаря этому действию выбранный бог услышит мои слова.

— Узри лицо свое! — сказал исповедник. — Смотри глазами в свои глаза.

Я посмотрел в зеркало. Поскольку мы остерегаемся заразить тщеславием наши души, смотреть в зеркало принято только в церковных стенах.

— Открой теперь свою душу, — скомандовал священник. — Пусть твои печали и горести, похотливые помыслы и неосуществленные мечты выйдут наружу.

— Сын септарха — вот кто покидает свою родную землю… — начал я, и тотчас исповедник стал весь внимание, заинтригованный моим сообщением. И хотя я не отводил глаз от зеркала, догадывался, что он украдкой пытается взглянуть на контракт и узнать, кто же его подписал.

— Страх перед братом, — продолжал я, — вынуждает его отправиться из отчего дома, но, хотя он добровольно уходит, душа его полна печали.

Еще некоторое время я продолжал высказываться в том же духе.

Исповедник вставлял обычные реплики каждый раз, когда я запинался, помогая моим словесным потугам, как опытная повитуха, владеющая всеми тонкостями своего ремесла. Вскоре уже не было необходимости в подобном акушерстве, потому что слова из меня хлынули подобно потоку. Я беззастенчиво рассказывал о вожделении к названой сестре, охватившем меня в ее объятиях.

Я поведал о том, насколько близко был от той опасной черты, за которой начиналась ложь септарху. Я сознался, что не собираюсь присут-

ствовать на свадьбе своего брата Стиррона, хотя и знаю, что тем самым причиню ему огромную боль. Я признался, в нескольких мелких грехах, продиктованных боязнью потерять самоуважение. Такой грех ежедневно совершает любой житель Борсена.

Исповедник слушал.

Мы платим им, чтобы они терпеливо слушали, пока мы не выговоримся полностью и не почувствуем себя лучше. Таково наше священное причастие. Мы подымаем из грязи этих жаб, сажаем их в церковь и покупаем своими деньгами их терпение. Заветом разрешается говорить исповеднику что угодно, даже бессмысленную чушь. Его не смутишь постыдными словами и поступками, признаниями в грязных намерениях и осуществленных преступлениях. Мы никогда не посмели бы сказать названому брату то, что говорим исповеднику, связав его контрактными обязательствами и купив его терпение и снисходительность. У нас нет нужды беспокоиться ни о том, что он о нас думает, ни о том, был бы ли он счастливее, если б занимался чем-нибудь другим. Было время, когда я считал справедливым и этичным существование определенных лиц, призванных избавлять сердца людей от тяжкой

боли. Многое пришлось пережить, прежде чем я осознал, что открывать свою душу исповеднику едва ли не то же самое, что удовлетворять плотское желание собственной рукой. Как в любви есть проявление чистоты и возвышенности, так и для обнажения души существуют более благородные способы.

Но тогда, стоя на коленях перед зеркалом, я получал исцеление, единственно возможное за деньги. В мерцающем свете свеч душа моя как бы отделялась от плоти. Исповедник был просто неким пятном в темноте, существование которого не имело никакого значения.

Теперь я говорил непосредственно с богом путешественников, который должен исцелить меня и провести по избранному мною пути. Я верил, что так оно и будет. Не скажу, что я воображал себе буквально какую-то обитель, где божества только и дожидаются нашего зова о помощи, но и абстрактное, метафизическое понимание нашей религии мне было неведомо. Возможность прямого общения с богом мне казалась столь же реальной, как и моя правая рука.

Поток моих слов иссяк, и исповедник не сделал ни единой попытки помочь ему возобновиться. Он прошептал слова отпущения грехов и от-

вернулся. Все кончилось. Я почувствовал, что очистился, что с души моей сошли муть и шлак. Изумительная патетика этого момента была столь впечатляющей, что я едва ли осознавал окружающие меня грязь и запустение.

Исповедальня стала волшебным местом, а исповедник озарился божественной красотой.

— Подымитесь, — произнес он, подталкивая меня носком своей сандалии.

— Можете отправляться в свое путешествие.

Звук его надтреснутого голоса погубил все очарование. Я встал и пока тряс головой, как бы не веря во вновь обретенную легкость мышления, исповедник стал потихоньку выталкивать меня. Он уже больше не боялся меня, этот уродливый человечек. Не боялся, даже несмотря на то, что я — сын септарха, а силы моей хватило бы убить его одним движением руки. Зная о моей трусости, о запретном вожделении к Халум, о всем том низком, что было в моей душе, он, при всем своем ничтожестве, почувствовал ко мне пренебрежение. Ни один человек, только что исповедавшийся, не может уже пугать своего исповедника.

Когда я вышел на улицу, дождь лил сильнее. Ноим, нахмурившись, сидел в кабине, прижав-

шись лбом к рулевому рычагу. Он поднял глаза и похлопал по запястью, давая понять, что я слишком много времени уделил пустякам.

— Почувствовал себя лучше, когда твой пузырь стал пустым? саркастически заметил он.

— Что? — не понял я.

— Хотел спросить, как ты себя чувствуешь, когда твой душевный пузырь стал пустым, — засмеялся Ноим.

— Не кажется ли тебе, Ноим, что это довольнотаки непристойная фраза, — обиделся я.

— Когда терпение испытывается слишком долго, невольно можно стать богохульником.

Он надавил на стартер, и мы покатили дальше. Вскоре мы уже были у древних стен Саллы. Четверо угрюмых стражников, стоящих у ворот, над которыми возвышалась сторожевая башня (кстати, ворота эти назывались Воротами Глина), не удостоили нас своим вниманием.

Ноим проехал через ворота мимо плаката, приглашающего нас на Главное Шоссе Саллы. Окрестности Саллы быстро исчезли из виду. Мы устремились на север, в Глин.

13

Главное Шоссе Саллы проходит через наши лучшие сельскохозяйственные районы, богатую и плодородную равнину Нанд, которая каждую весну покрывается слоем земли, безжалостно смытой в районах Западной Саллы вспучившимися от селевых потоков ручьями и горными реками. Из-за попустительства септарха округа Нанд, печально знаменитого скряги, Главное Шоссе содержится в отвратительном состоянии. Так что, как шутя предсказывала Халум, мы едва не захлебнулись в грязи. Для нас было благом, когда равнина Нанд закончилась и мы очутились в Средней Салле, где почва представляет собой смесь камней и песка, и народ питается сорной травой и тем, что удается выловить в море. Краулеры — весьма необычное зрелище в Северной Салле. Дважды нас забрасывали камнями голодные и злые жители, которые воспринимали как личное оскорбление стремительную езду на машинах по их несчастной земле. Но, во всяком случае, дорога здесь была свободна от грязи.

Войска отца Ноима располагались в самой

дальней части Северной Саллы, на более низком берегу реки Хаш — самой величественной из рек материка Велада. Она берет свое начало из сотни мелких ручьев, стекающих с восточных склонов горной гряды Хаштор в северной части Западной Саллы. Эти ручьи сливаются среди холмов в быстрый поток, пенящийся и бурлящий, который врывается в узкий гранитный каньон, образуя в нем каскад из шести водопадов. Вырываясь на равнинные просторы, Хаш течет более спокойно на северо-восток, становясь все шире и шире и раскидываясь, в конце концов, поистине величаво: его могучая дельта прорезается восемью впадающими в океан рукавами. Быстрая западная часть Хаша является границей между Саллой и Глином. Спокойное восточное русло отделяет Глин от Крелла.

По всей своей длине великая река не имеет мостов. Казалось бы, нет особой нужды строить укрепления по ее берегам для защиты от набегов с противоположного берега. Однако много раз за историю существования Саллы воинственные жители Глина пересекали на лодках Хаш, и неоднократно вооруженные отряды из Саллы отправлялись опустошать Глин. Взаимоотношения между Глином и Креллом сложились ничуть не

счастливее. Поэтому вдоль всего Хаша устроены военные форты и генералы, подобно Луинну Кондориту, проводят всю свою жизнь, вглядываясь в окутывающий реку туман, чтобы своевременно засечь появление неприятеля.

В лагере отца Ноима я сделал небольшую остановку. Генерал Кондорит совсем не похож на Ноима. Лицо этого крупного мужчины, изборожденное морщинами, напоминало контурную карту каменистой Северной Саллы. За те пятнадцать лет, что он провел здесь, не было ни одной существенной стычки вдоль охраняемой им границы, и, мне кажется, эта невольная праздность охладила его душу. Он говорил мало, часто хмурился, отзывался на все горьким ворчаньем и быстро уходил от разговора, погружаясь в задумчивость.

Должно быть, он мечтал о войнах. Без сомнения, всякий раз, когда он глядел на реку, ему хотелось, чтобы на ней показались плоты с вооруженными людьми из Глина. Поскольку патрульную службу несли и на берегу, принадлежащем Глину, удивительно, что пограничникам удавалось преодолевать искушение нарушить границу просто так, от скуки, тем самым втянув наши государства в бессмысленный конфликт.

Здесь нам было откровенно скучно. Даже Ноиму, испытывающему естественную сыновнюю привязанность к отцу, не о чем было говорить с ним, а для меня генерал был просто чужим человеком.

Я сказал Стиррону, что буду у Луинна Кондорита до первого снега, и не собирался нарушать данное ему слово. Но, к счастью, оставаться здесь пришлось совсем недолго. На севере зима приходит рано. На пятый день нашего пребывания в гостях у генерала в воздухе закружились первые снежинки, что освободило меня от наложенного на себя обета.

В трех местах между пристанями, если, конечно, не велись военные действия, ходили паромы, связывающие Саллу с Глином. И вот в одно хмурое утро Ноим подвез меня к одному из причалов. Мы торжественно обнялись и стали прощаться. Я обещал незамедлительно сообщить свой адрес в Глине, чтобы он мог держать меня в курсе событий, происходящих в Салле. Он обещал присмотреть и за Халум. Мы с неопределенностью говорили о том, когда все трое сможем встретиться. Возможно, они навестят меня в Глине в следующем году, а может быть, мы вместе отправимся на лето в Маннеран. Однако в голосах

наших не было уверенности, когда мы обсуждали этих планы.

— Этот день разлуки не должен был бы наступить никогда, — заметил Ноим с горечью.

— Но ведь разлука ведет к встречам, — беспечно ответил я.

— Ты бы, наверное, все-таки мог прийти к некоторому взаимопониманию со своим братом, Кинналл…

— На это никогда не было надежды!

— Стиррон с теплотой говорил всегда о тебе. Что, он не был искренним?

— Сейчас-то он искренен, да. Но пройдет совсем немного времени, и сначала для него станет неудобным, что брат живет рядом с ним, а затем и вовсе невозможным. Септарх спит лучше, когда поблизости нет потенциального соперника, связанного с ним кровными царственными узами.

Паром позвал меня воем сирены.

Я схватил руку Ноима, и мы распрощались окончательно. Последними моими словами были:

— Когда увидишь септарха, скажи ему, что брат очень любит его.

Я взошел на паром.

Через реку переехали очень быстро. Прошло

меньше часа, а я уже стоял на чужой для меня земле Глина. Иммиграционные власти сначала обращались со мной довольно грубо, но оттаяли при виде моего паспорта, ярко-красный цвет которого означал мою принадлежность к аристократии. К тому же золотая полоса, наискосок пересекавшая этот документ, свидетельствовала о том, что я из семьи септарха. Мне тотчас выписали визу на неопределенный срок пребывания. Чиновники подобного рода — большущие сплетники. Без сомнения, как только я вышел из конторы, они передали по телефону своему правительству срочное сообщение о том, что принц Саллы находится в их округе, и, полагаю, чуть позже эта новость уже была известна дипломатическим представителям Саллы в Глине, которые незамедлительно передали ее моему брату — к очевидному его неудовольствию.

Напротив таможни находилось отделение Договорного банка Глина, и я обменял там свои деньги на купюры нашего северного соседа. Затем я нанял водителя, который отвез меня на север, в столицу, имеющую название Глейн.

Путь до Глейна занял полдня.

Дорога была узкой и извилистой и пересекала унылую местность, где дыханием зимы давно

уже смело последние листья с деревьев. Повсюду лежали сугробы грязного снега. Провинция Глин богата лесами. Она основана людьми пуританского склада, которые сочли жизнь в Салле легкой. Очевидно, они почувствовали, что, оставшись на родной земле, вполне смогут поддаться искушению и в чем-то отступить от Завета. Переселенцы пересекли Хаш и обосновались на севере. Суровый народ, населяющий провинцию Глин, создан для тяжелого труда. Как ни бедно сельское хозяйство Саллы, урожаи на полях Глина раза в два, если не больше, хуже, чем у нас. Главными источниками существования местного населения издавна были рыбная ловля, ремесленничество, хитроумные торговые сделки и пиратство. Не будь моя мать родом из Глина, я бы никогда не избрал это место для своего добровольного изгнания. Однако мои родственные связи ничего хорошего мне не принесли…

14

Ночь я провел в Глейне. Этот город, подобно Салле, обнесен стенами, но в остальном мало похож на нее. Салла несет на себе отпечаток изящества и могущества. Здания в нашей столице построены из камня (черного базальта и розового гранита, добываемых в горах), улицы широки, благоустроенны и содержатся в чистоте, по ним прогуливается роскошная толпа. Если не считать нашего обычая вместо окон делать узкие щели, Салла-Сити открытое, привлекательное место, архитектура которого являет миру дерзновенность и самобытность ее жителей.

Зато этот мерзкий Глейн!... О!

Глейн выстроен из грязно-желтого кирпича, лишь кое-где отделанного жалким розовым песчаником, крошащимся на мелкие кусочки при малейшем к нему прикосновении. В этом городе нет улиц! Одни переулки. Дома теснятся друг к другу, будто боясь, что нечто нежелательное попытаться впихнуться между ними, стоит им только ослабить свою бдительность. Проспекты Глейна по благоустройству нельзя сравнить даже

с водосточными канавами Саллы.

Архитекторы Глина создали город в расчете разве что на неприхотливый вкус исповедников, поскольку все в нем кривобокое, неправильной формы, неровное и грубое. Мой брат, который как-то побывал в Глейне с дипломатической миссией, описал этот город, не жалея черных красок, но тогда я посчитал его слова просто проявлением псевдопатриотизма. Теперь же я убедился, что Стиррон был еще довольно мягок в своих оценках.

Да и обитатели Глейна не лучше своего города. В мире, где подозрительность и скрытность являются божественными добродетелями, можно ожидать, что готовность к отказу от тех или иных жизненных благ расценивается как воплощение моральной чистоты. Однако я обнаружил, что добродетельность обитателей Глейна наложила на них крайне неприятный отпечаток: темная одежда, хмурый вид, черные души, неприступные, скрытные сердца. Даже речь свидетельствует об их душевной замкнутости. Язык в Глине тот же, что и в Салле, если не считать особенностей произношения некоторых звуков. Но это не смущало меня, зато ужас вызывал их синтаксис: слова слагались в предложения так,

что говорящий нарочито демонстрировал свое самоуничтожение. Мой водитель — парень был родом не из этих мест и казался мне настроенным дружелюбно — доставил меня в гостиницу, где, как он думал, я найду достойный прием. Когда я вошел и сказал: «Нужна комната на ночь и, возможно, еще на несколько дней», — хозяин гостиницы со злобой взглянул на меня, как будто я сказал: «Мне (!) нужна комната», — или что-нибудь, столь же непристойное. Позже я обнаружил, что даже наши обычные вежливые неопределенно-личные высказывания кажутся северянину проявлением неслыханного тщеславия. Я не должен был говорить: «Нужна комната...».

Требовалось спросить: «Есть ли здесь свободная комната?». В ресторане не следовало говорить: «Пообедать можно тем-то и тем-то», а нужно было сказать: «Вот блюда, которые выбраны». И так далее и тому подобное.

Короче, во избежание категоричности высказывания в речи использовался только затруднительный для говорящего страдательный залог, чтобы избежать греха, заключающегося в публичном объявлении факта своего собственного существования.

Из-за моего неведения хозяин отвел мне самую

плохую комнату и заломил за нее вдвое больше обычного тарифа. По моей манере говорить он опознал во мне уроженца Саллы. Зачем же ему быть со мной любезным? Но, подписывая контракт, я вынужден был показать хозяину свой паспорт. Когда он увидел, что его гостем является принц, то едва не задохнулся от изумления. Он настолько смягчился, что спросил: не угодно ли, чтобы в комнату прислали вино, а может быть, и веселую девушку?

Я согласился выпить вина, но отказался от девушки, потому что был еще очень молод и чересчур боялся тех болезней, которые могли таиться в чужеземной плоти. В тот вечер я одиноко сидел в своей комнате, наблюдая, как падает снег за окном, и ощущая себя, как никогда прежде, изолированным от всех людей.

Как никогда прежде…

15

Прошло больше недели, и я, наконец, решился созвониться с родней моей матери. Каждый день, туго завернувшись в плащ от ветра, я часами бродил по городу, удивляясь уродству как людей, так и зданий. Я нашел посольство Саллы и, стараясь оставаться незамеченным, подолгу стоял возле него, не желая, однако, заходить внутрь. Это угрюмое приземистое здание как бы незримо связывало меня с родной землей. Я покупал груды дешевых книг и читал их до глубокой ночи, чтобы получше разузнать о жизни в избранной мной провинции. Здесь была и история Глина, и путеводитель по Глейну, и эпические произведения, посвященные основанию первых поселений к северу от Хаша… и многое другое. Я растворял свое одиночество в вине — но не в том напитке, которое производили в Глине и называли здесь вином. Разве виноградная лоза могла произрастать в такой стуже? Я пил доброе золотистое сладкое вино Маннерана, которое ввозилось сюда в огромных бочках.

Спал я плохо. В одну из ночей мне приснилось,

что Стиррон умер и меня разыскивают. Несколько раз в своих снах я видел, как птицерог убивает отца. Это сновидение до сих пор преследует меня — я постоянно вижу его по два-три раза за год. Я писал длинные письма Халум и Ноиму и рвал их, так как они были пропитаны жалостью к самому себе. Я написал также письмо Стиррону, умоляя простить за мое бегство. Но и это письмо я порвал. Когда уже ничто не могло меня утешить, я попросил хозяина прислать девушку.

После ее визита я добрый час отмывался, однако на другой вечер попросил прислать другую. Не церемонясь с ними, я всем своим телом и душой кричал "я", «мне», "я", «мне», будто был на исповеди. Я даже несколько раз произносил эти слова вслух. Правда, потом меня преследовали страхи, что хозяин гостиницы обвинит меня в непристойном поведении, однако при встрече он так ничего и не сказал. Даже в Глине с девушками подобного сорта не требуется проявлять вежливость — только такой вывод можно было сделать из всего происшедшего.

Вот так я тратил деньги в столице пуританского Глина, бражничая и распутничая. Когда я стал задыхаться от собственной праздности, то, переборов застенчивость, направился на поиски

своих глейнских родственников.

Моя мать была дочерью старшего септарха Глина. Он, как и его сын, наследовавший трон, уже умерли. На престоле сейчас находился племянник моей матери, Труис. Мне казалось преждевременным просить покровительства у моего царственного кузена. Труис, являясь правителем Глина, вынужден считаться не только с родством, но и с государственными интересами, и возможно, он не захочет оказать помощь сбежавшему брату старшего септарха Саллы, чтобы не ухудшать межгосударственных взаимоотношений. Но у меня была тетка Ниолл, младшая сестра матери, которая в свое время частенько бывала у нас в Салла-Сити и с любовью нянчилась со мною, когда я был ребенком. Не поможет ли она мне?

Ее брак как бы символизировал союз власти с богатством. Муж тетки, маркиз Хаш, пользовался огромным влиянием при дворе. Он — в Глине не считалось неподобающим для аристократов заниматься коммерцией контролировал деятельность богатейшей посреднической палаты. Такие палаты были чем-то вроде банков, но в несколько ином духе. Они одалживали деньги разбойникам, купцам, промышленникам, но под убийственные

проценты, и всегда завладевали частью прав собственности на то дело, которое субсидировали. Таким образом, они незаметно просовывали свои щупальца в сотни организаций и добились невообразимого влияния в экономике. В Салле посреднические палаты были запрещены еще столетие назад, но в Глине они преуспевали, став едва ли не еще одним правительственным органом. Я недолюбливал такую систему хозяйствования, но предпочитал присоединиться к ней, чем начать попрошайничество.

В гостинице я разузнал, как пройти к дворцу маркиза. По стандартам Глина это было довольно внушительное здание. К главному корпусу присоединялись два крыла. Рядом находилось гладкое, как зеркало, искусственное озеро. Я не пытался сразу же проникнуть внутрь, а приготовил записку, в которой уведомлял маркиза, что его племянник Кинналл, сын септарха Саллы, находится в Глейне и милостиво испрашивает у него аудиенцию. Найти его можно в такой-то гостинице. Я вернулся в номер и стал ждать. На третий день хозяин гостиницы с выпученными от страха глазами вошел в мою комнату, чтобы сказать, что меня ждет посетитель в наряде придворного маркиза Хаша. Ниолл выслала за мной

машину. Меня отвезли в ее дворец, где все было намного богаче, чем снаружи, и она приняла меня в большом зале, искусно обставленном зеркалами таким образом, что создавалась иллюзия бесконечности.

Она сильно постарела за те шесть или семь лет с тех пор, как я видел ее в последний раз. Но мое удивление при виде ее седых волос и морщинистого лица не шло ни в какое сравнение с ее изумлением, что я за столь короткое время превратился из крошечного ребенка в огромного мужчину. Мы обнялись по обычаю Глина, касаясь друг друга только кончиками пальцев. Она принесла свои соболезнования по случаю смерти моего отца и извинения за то, что не посетила церемонию коронации Стиррона. Затем она спросила, что привело меня в Глин. Я объяснил причины моего здесь прибывания, и тетушка не выказала при этом удивления. «Намерен ли я здесь обосноваться на постоянную жизнь?» — Я ответил, что да. «И чем же я собираюсь поддерживать средства к существованию?» — «Работая в посреднической палате ее мужа, — ответил я, — если мне будет предоставлена подобная возможность». Мои планы не показались ей неразумными, однако она спросила, обладаю ли

я какими-либо профессиональными навыками, чтобы меня можно было рекомендовать маркизу. На это я ответил, что изучал законодательство Саллы (не упомянув, насколько незавершенным был курс моих занятий) и поэтому могу быть полезным при проведении каких-либо операций палаты в нашей провинции. Я также сказал, что связан узами побратимства с Сегвордом Хелала-мом — верховным судьей порта в Маннеране — и способен принести пользу в делах, связанных с этим городом. Наконец, я заметил, что молод, крепок и честолюбив, а посему готов посвятить всего себя делу процветания посреднической палаты, потому что только такое деяние будет для всех нас взаимовыгодным. Эти заявления как будто успокоили тетушку, и она обещала добить-ся моей встречи лично с маркизом. Покидал я ее дворец полный радужных надежд.

Через несколько дней в гостиницу пришло уведомление о том, что мне нужно предстать в конторе посреднической палате, однако не лично перед маркизом Хаш, а перед одним из его управляющих, неким Сизгаром. Этот человек был до того скользким, что казался прямо мас-лянистым. У него не было ни бороды, ни бровей, а лысина блестела так, как будто была натерта

воском. Сизгар кратко расспросил меня о моей учебе, обнаружив с помощью не более десятка вопросов ничтожность моих знаний и полное отсутствие опыта.

Однако об этих моих пробелах в образовании он говорил столь учтиво и дружелюбно, что я уже было решил, что, несмотря на мое невежество, высокородность и родство с маркизом обеспечат мне какую-нибудь должность.

Увы, какое благодушие. Я уже вынашивал планы, как буду продвигаться к более высоким постам в этой посреднической палате, когда уловил краем уха слова Сизгара, обращенные ко мне.

— Времена сейчас трудные, это, конечно, ясно вашей милости. К сожалению, вы обратились к нам как раз тогда, когда необходимо проводить сокращение штатов. Предоставление вам работы даст нам немало преимуществ, но мы теперь столкнулись с чрезвычайными затруднениями. Маркиз желает, чтобы вы поняли, что ваше предложение служить интересам Глина было принято с радостью и что он готов принять вас в свою фирму, когда позволит экономическая конъюнктура.

Часто кланяясь и приятно улыбаясь, он вывел

меня из своего кабинета, и, прежде чем я сообразил, что со мной окончательно разделались, я оказался уже на улице. Они ничего не смогли дать мне, даже должности пятого помощника поверенного в какой-нибудь деревенской конторе! Как же это стало возможным? Я почти что бросился назад, намереваясь закричать:

«Это ошибка, вы все же имеете дело с кузеном вашего септарха и племянником вашего маркиза!». Но они, разумеется, знали об этом и тем не менее захлопнули передо мною дверь! Когда я позвонил по телефону тетушке, намереваясь выразить всю степень своего потрясения случившимся, мне сказали, что она уехала за границу, чтобы скоротать зиму в теплом Маннеране.

16

Постепенно то, что произошло, стало мне ясным. Моя тетка говорила обо мне с маркизом, а тот, наверняка, посовещался с септархом Труисом.

Очевидно, после этого маркиз Хаш и пришел к выводу, что предоставление мне какой-либо работы может отразиться на его взаимоотношениях со Стирроном, вернее, на взаимоотношениях между Труисом и Стирроном! Кипя от негодования, я подумал было о том, чтобы прямо пойти к Труису и выразить протест, но вскоре осознал увидел всю тщетность этой попытки, а поскольку моя покровительница Ниолл уехала из Глина именно для того, чтобы избежать повторной встречи со мной, я понял, что дело мое безнадежное. Я был одинок в Глейне. Надвигалась зима. У меня не было в этом совершенно чуждом для меня месте никакого положения. И вся моя высокородность в этом государстве была совершенно бесполезной.

Затем последовали еще более суровые удары судьбы.

Придя как-то утром в Договорный банк Глина

взять немного денег на текущие расходы, я узнал, что на мой вклад наложен запрет по требованию главного казначея Саллы, который доказал незаконность перевода капитала в Глин. Потрясая своим царственным паспортом, мне удалось все же выклянчить денег, которых едва хватило на покрытие расходов за проживание здесь в течение семи дней. Оставшаяся часть моих средств была для меня потерянной, и у меня не хватило духа мольбами и увещеваниями вернуть их.

В гостинице меня посетил дипломат из Саллы, мелкий секретаришка, который, то и дело преклоняя передо мною колени и всячески выказывая почтение, напомнил о скорой свадьбе моего брата и сообщил о его желании видеть меня на ней в качестве шафера. Окажись я снова в руках Стиррона, мне больше уже никогда не покинуть Саллу. Я отговорился якобы неотложностью дел, требующих моего пребывания в Глейне как раз в то время, когда в Салле будет свадьба, и попросил передать септарху мои поздравления и глубочайшее сожаление по поводу вынужденного отсутствия. Секретаришка выслушал все это с профессиональным почтением, но я без труда заметил, как сияет он от удовольствия под личиной внешней учтивости. «Я нажил себе неприятно-

сти, — как бы говорил он сам себе. — Но он сам охотно помогает мне выпутаться из них».

На четвертый день после этого хозяин гостиницы зашел ко мне и предупредил, что я не могу оставаться в его доме, поскольку мой паспорт аннулирован и я не имею больше в Глине официального статуса.

Это было невероятно. Королевский паспорт, такой, какой был у меня, на всю жизнь и действителен в любой провинции материка Велада, если только нет войны. Сейчас же между Саллой и Глином не происходило вооруженного конфликта.

Хозяин в ответ на мои слова только пожал плечами. Он показал бумагу из полиции с приказом выселить проживающего у него нелегально чужеземца.

Через мгновение, словно сжалившись надо мной, он посоветовал обратиться в соответствующее Бюро гражданской службы Глина. Я счел неразумной апелляцию к властям. Мое выселение вовсе не было делом случая, и, появись я в каком-нибудь правительственном учреждении, весьма возможно, что меня арестуют и препроводят через Хаш прямо в объятия Стиррона.

Предвидя такой поворот дела, я не на шутку задумался над тем, как уклониться от правитель-

ственных агентов. Теперь я с горечью ощущал отсутствие своих названых брата и сестры. К кому же еще я мог обратиться за помощью и советом? Нигде в Глине не было хоть кого-нибудь, кому я мог бы сказать: «Нависла смертельная опасность и нужна ваша помощь!» Здесь все души были окружены каменными стенами неприступных обычаев. Во всем мире существовали только двое, кому я мог открыться, но они были далеки сейчас от меня. Поэтому я должен сам отыскать способ своего спасения.

«Нужно скрыться», — решил я. Хозяин гостиницы дал мне на сборы несколько часов, после чего я обязан покинуть его дом.

Для начала я сбрил бороду, обменял у одного постояльцев свой королевский плащ на какое-то рубище и заложил доставшееся в наследство от отца кольцо, чтобы иметь хоть немного денег. Оставшиеся пожитки я поместил у себя на спине в виде горба и, вдвое скрючившись, проковылял прочь от гостиницы, прикрыв повязкой один глаз и искривив на сторону рот. Могла ли эта маскировка кого-либо провести, сказать трудно, однако меня никто не арестовал. И, таким образом обезобразив себя, я поплелся из Глейна под холодным моросящим дождем, который вскоре

превратился в снег.

17

Как только я оказался за северо-западными воротами (а именно туда привели меня ноги), рядом прогрохотал тяжелый грузовик. Его колеса прокатились по полузамерзшей луже, щедро обдав меня грязной водой. Я остановился, чтобы смахнуть холодные брызги со штанин. Грузовик тоже остановился, из него вылез водитель и, поклонившись, сказал:

— Извините за столь непреднамеренный оборот дела.

Подобная вежливость настолько изумила меня, что я выпрямился во весь рост и перестал кривить черты своего лица. Очевидно, водитель посчитал меня покалеченным согбенным стариком, так как очень удивился такому моему превращению. В ответ на его смех я не знал, что сказать. Тогда он предложил:

— Обогрейтесь! В кабине есть еще одно место. А может, если вам нужно ехать?…

В моем сознании тут же вспыхнула яркая фантазия: он довезет меня до побережья, где я могу попасть на борт какого-нибудь торгового суд-

на, следующего в Маннеран. В этой счастливой тропической стране я бы с радостью сдался на милость отца своей названой сестры…

— Куда вы направляетесь? — спросил я.

— На запад, в горы.

Вот тебе и Маннеран! Но я все равно согласился. Он не предложил мне никакого контракта, и я не потребовал от него того же. Несколько минут мы оба молчали. Я был поглощен тем, как плюхаются колеса грузовика в незаметные глазу заснеженные выбоины, и думал о поминутно возрастающем расстоянии между мной и полицией Глина.

— Вы — чужеземец? — наконец нарушил тишину водитель.

— Да, — односложно ответил я, опасаясь того, что уже объявлена тревога и ведется розыск принца из Саллы. Если водитель решит продолжить разговор, я воспользуюсь плавным неразборчивым говором южан, которому в свое время выучился от Халум. Надеюсь, водитель забыл уже о том, что сначала я говорил с акцентом, характерным для жителей Саллы. — Вы едете с уроженцем Маннерана, который находит вашу зиму очень необычным и тяжелым бременем.

— Что же тогда привело этого человека на наш

север? — спросил водитель.

— Улаживание дел об имуществе матери. Она была уроженкой Глейна.

— Адвокаты хорошо обошлись с вами, а?

— Ее деньги растаяли в их руках. У меня же ничего не осталось.

— О, это обычная история. Так вы сейчас на мели?

— Ни гроша в кармане!

— Не отчаивайтесь! Ваше положение легко понять. Мне приходилось бывать в вашей шкуре. Надо подумать, что можно сделать для вас.

Судя потому, что водитель не пользовался столь употребляемым в Глине страдательным залогом, он, должно быть, тоже чужеземец. Повернувшись, чтобы взглянуть на его лицо, я сказал:

— Кажется, вы тоже не из здешних мест?

— Правда.

— У вас необычный акцент, — настойчиво продолжал я. — Вы из какой-то западной провинции?

— О, нет-нет.

— И не из Саллы?... Так откуда же?

— Из Маннерана, — сказал он и искренне рассмеялся. Я же весь покрылся краской стыда и смущения, когда он сказал: — Вы хорошо подде-

лали акцент, друг. Но вам нет нужды стараться обмануть меня.

— В вашей речи совсем не чувствуется маннеранский акцент, — только и мог вымолвить я.

— Очень долго пришлось жить в Глине, вот поэтому в речи все перемешалось.

Я понял, что ни на мгновение мне не удалось его одурачить, но он не делал никаких попыток выяснить, кто же я на самом деле. Казалось, ему было все равно, кто я и откуда родом.

Мы легко разговорились. Он рассказал мне, что является владельцем лесопилки в западной части Глина, в отрогах Хаштора, где растут высокие медовые сосны с желтыми иглами. Вскоре он предложил мне работу лесоруба на его участке. «Плата низкая, — заметил он, — зато очень чистый воздух, никогда не бывает правительственных чиновников, и такие вещи, как паспорт или сертификат, не имеют там никакого значения».

Конечно же, я согласился. Его лесопилка расположена в очень живописном месте над сверкающим горным озером, которое никогда не замерзало, так как подпитывалось теплым ручьем, начинающимся, как говорили, где-то в глубине Выжженных Низин. Грандиозные,

покрытые снегом вершины нависали над нами. Неподалеку были расположены Врата Глина проход из Глина в Выжженные Земли, пересекающий на своем пути угловую часть Вымерзших Низин. На него, хозяина лесопилки и одновременно водителя, работало по найму около сотни людей, грубых сквернословов, безо всякого стыда неизменно выкрикивающих "я" и «мне». Но это были честные и работящие люди! С такими людьми я еще не бывал знаком.

Я рассчитывал остаться здесь на всю зиму, скопить денег и, заработав достаточно, отправиться в Маннеран. Время от времени до нас доходили кое-какие сведения из внешнего мира. Именно так я узнал, что власти Глина разыскивают какого-то молодого принца из Саллы, который, как уверяли, сошел с ума и скитается где-то по стране. Септарх Стиррон хотел, чтобы этот несчастный молодой человек был срочно возвращен на родину для лечения, в котором так нуждался. Полагая, что все дороги и посты окажутся под наблюдением, я продлил свое пребывание в горах и остался там сначала на весну, а затем и на лето. В конце концов, я провел там немногим более года.

За это время я очень изменился. Мы трудились в любую погоду, не покладая рук: рубили огром-

ные деревья, очищали их от сучьев и передавали на лесопилку. Рабочий день длился нескончаемо долго, зато по вечерам было много теплого вина и каждый десятый день к нам привозили компанию женщин из ближайшего городка. Мой вес увеличился чуть ли не наполовину, причем только за счет твердых, как сталь, мускулов, и я даже подрос, обогнав в росте самого высокого лесоруба в округе.

Мои размеры стали объектом общих шуток. Снова отросла моя борода и изменился овал лица, когда исчезла юношеская пухлость. Лесорубы нравились мне больше, чем придворные, среди которых прошли мои прежние годы. Мало кто из жителей гор и лесов мог читать, а уж о вежливости они и слыхом не слыхивали, но это были жизнерадостные и добродушные люди. Их души были в соответствии с телом.

Мне не хотелось бы, однако, чтобы у вас сложилось о них идиллическое представление. Хотя они часто говорили "я" и «мне», но не были людьми с душой нараспашку и не обнаруживали склонности к чистосердечным излияниям.

Нет, в этом отношении они строго придерживались канонов Завета и, может быть, были в чем-то даже более скрытными, чем люди образованные.

И все же, казалось, что у них более чистые души, чем у тех, кто нарочито пользуется в речи страдательным залогом или неопределенно-личными фразами. Возможно, именно мое пребывание среди них явилось толчком для понимания глубокой ошибочности Завета и посеяло во мне семя ниспровержения его канонов, которому позже землянин Швейц помог пустить глубокие корни.

Я ничего не говорил им о своем происхождении и ранге. Судя по нежности моей кожи, они могли сами догадываться, что мне не приходилось прежде работать. Кроме того, моя манера разговаривать выдавала во мне человека образованного, хотя и необязательно знатного. Но я не желал открывать перед ними своего прошлого, да и никто не домогался этого. Я сказал им только, что родом из Саллы, — об этом все равно неумолимо свидетельствовал мой акцент. Остальное никого здесь не интересовало. Мой наниматель, полагаю, давно догадался, что я, должно быть, тот беглый принц, которого так упорно ищет Стиррон. Но он ни разу не показал виду, что знает об этом. Впервые за всю свою жизнь моя личность была отделена от моего королевского статуса. Я перестал быть лордом Кинналлом, вторым сыном септарха, я был просто Даривалем, здоровенным

лесорубом из Саллы.

Это превращение многому меня научило. Я никогда и раньше не разыгрывал из себя этакого чванливого, задиристого молодого аристократа.

То, что я — только второй сын септарха, в некоторой степени прижимает меня. Однако я не мог не ощущать себя отличным от обычных людей. Мне прислуживали, кланялись, меня обхаживали и баловали; со мною разговаривали мягко и оказывали формальные знаки почитания даже тогда, когда я был ребенком. Ведь я все же — сын септарха, то есть, другими словами, сын монарха, так как септархи являются наследственными правителями, династии которых можно проследить с момента заселения заселения Борсена людьми.

Правящие династии существовали и на самой Земле как в цивилизованных странах, так и у древних народов, вплоть до раскрашенных вождей в доисторические времена. И я был частью этой династической цепи, представителем королевского рода, в чем-то поставленным выше других самими обстоятельствами своего рождения. Но в этом горном лагере лесорубов я пришел к пониманию того, что короли не являются помазанниками божьими.

Скорее, они вознесены над толпой волей людей, и эти же люди могут скинуть гордеца в глубокую пропасть. Стиррона свергли бы во время восстания. Если бы его место занял тот мерзкий исповедник, из Старого Города, разве он не занял бы место в династической последовательности правителей, а Стирона не повергли бы в прах? И разве сыновья того исповедника не стали бы гордиться своей кровью, как гордился я, хотя их отец был никем почти всю свою жизнь, а своего деда они даже не помнят? Я знаю, что в сагах будет говориться, что благоволение богов снизошло на этого исповедника и вознесло тем самым и его, и все его потомство, сделав их навеки святыми. Однако, я прозрел и увидел незамутненным взором, что такое королевская власть. Потеря сословных привилегий позволила осознать, что я не более, чем просто человек среди людей, и таким был всегда. И кем мне дано стать, зависит только от природных моих качеств и устремлений, а не от дарованного случаем ранга.

Благодаря такому разительному изменению самосознания пребывание в горах стало казаться мне не изгнанием, а своего рода наградой. Мечты о спокойной жизни в Маннеране оставили меня. Я скопил денег больше, чем требовалось для

оплаты проезда, но пропало стремление покинуть эти места.

И не столько страх перед арестом удерживал меня среди лесорубов, сколько любовь к чистому, прозрачному, студеному воздуху Хашторов, к моему трудному ремеслу и привязанность к окружавшим меня, пусть и грубым, зато настоящим людям. Я оставался там все лето и всю осень, и вот уже наступила снова зима, а я не помышлял даже о том, чтобы уйти.

Может быть, я оставался бы в горах до сих пор, однако случилось так, что мне пришлось бежать. В один из мрачных зимних дней, когда небо стало серо-стальным и нависла угроза метели, прибыли шлюхи из поселка, что сулило нам вечером веселье. На этот раз среди них была новенькая. Ее произношение свидетельствовало о том, что она родом из Саллы. Как только женщины очутились среди мужчин, я хотел было улизнуть, но новенькая уже заметила меня и, чуть не задохнувшись от изумления, взвизгнула:

— Взгляните-ка вон на того, девочки! Да это же наш пропавший принц!

Я рассмеялся и стал всех убеждать, что она пьяная или чокнутая, но раскрасневшиеся щеки невольно выдали меня.

Лесорубы как-то по-новому посмотрели на меня. Принц? Принц? Так ли это? Они стали перешептываться между собой, толкаясь и перемигиваясь.

Почуяв опасность, я объявил, что мне нравится эта женщина, и увел ее прочь. Когда мы остались наедине, я попытался было убедить ее, что она ошиблась. «Никакой я не принц, — сказал я, — а простой лесоруб». Но девка твердо стояла на своем.

— Когда лорд Кинналл шествовал в похоронной процессии, — твердо заявила она, — я вот этими глазами рассмотрела его! И он — это вы!

И чем больше я возражал, тем убежденное становилась она. Мои уверения не поколебали ее. Даже когда я обнял девчонку, она из-за обуявшего ее страха оставалась холодна и безучастна.

В тот же вечер, когда веселье закончилось, ко мне подошел наш хозяин, серьезный и встревоженный.

— Одна из девчонок как-то странно говорила о тебе, — начал он. — Если правда то, о чем она трезвонит, ты подвергаешь себя опасности, приятель.

Когда она вернется домой, эта новость мгновенно распространится по поселку, и, без сомнения,

здесь сразу же появится полиция.

— Значит, бежать?

— Это как ты сочтешь нужным, — пожал плечами хозяин. — Пока что розыски принца продолжаются. Если ты — он, от властей здесь тебя некому будет защитить!

— Ну что ж, тогда на рассвете…

— Сейчас! — твердо сказал хозяин. — Пока девчонка отсыпается…

Он сунул мне в руку пачку денег — намного больше, чем был должен за последний период работы. Я собрал свои скудные пожитки, и мы вместе вышли на воздух. Ночь была безлунной, неистово бушевала пурга. В свете нашего фонаря заискрились снежинки. Мой хозяин молча отвез меня вниз по склону, мимо поселка, откуда приехали девушки, и вывез на проселочную дорогу, по которой мы проехали несколько часов. Заря застала нас в южной части центрального округа Глина, неподалеку от реки Хаш. Мы остановились в деревне под названием Клек. В этом продуваемом всеми ветрами месте маленькие каменные домики были окружены необозримыми заснеженными равнинами. Оставив меня в кабине, хозяин пошел в первый из домиков. Через мгновение он вышел из него в сопровождении

сморщенного человечка, оживленно размахивающего руками. С его помощью мы прошли к домику, который разыскивал мой хозяин. Владельцем его был фермер по имени Стамвиль светловолосый мужчина почти такого же роста, как и я, с выцветшими, когда-то голубыми, глазами и извиняющейся улыбкой. Может быть, он стоял в каком-то родстве с моим хозяином или, что более вероятно, был у него в долгу — я так и не узнал об этом. Так или иначе, крестьянин с готовностью отозвался на просьбу моего хозяина и принял меня в качестве своего постояльца. Хозяин на прощание обнял меня и исчез в снежном вихре. Больше я уже никогда не встречал его. Надеюсь, боги добры к нему, потому что он был очень добр ко мне.

18

Домик состоял из одной большой комнаты, разгороженной на несколько частей тонкими занавесками. Стамвиль нацепил еще одну занавеску и дал мне солому для матраца — мое жилье было готово. Под крышей домика нас было семеро: я, Стамвиль, его жена — изможденная крестьянка, которая по моему твердому убеждению могла бы сойти за его мать, трое их детей — двое мальчиков, которым до возмужания оставалось уже недолго, девушка-подросток и, кроме того, ее названая сестра. Все жильцы этого убогого дома были веселыми, невинными и верными людьми. Хотя им ничего не было известно обо мне, они тотчас же приняли меня в члены своей семьи, как будто я был их родственником, неожиданно возвратившимся из дальних странствий. Я не был подготовлен к той легкости, с которой они приняли меня, и сперва приписывал ее каким-то обстоятельствам, вернее, обязательствам, которые наложил на них мой прежний хозяин. Но оказалось, что это не так. Они были добры по своей природе, никогда ничего не выспраши-

вали, не отличались подозрительностью. Я ел за одним столом с ними, сидел вместе с ними у очага, участвовал в их развлечениях. В каждый пятый вечер Стамвиль наполнял огромное выдолбленное из дерева корыто горячей водой, и я мылся вместе с его семьей, причем одновременно в корыте было двое или трое.

Можете себе представить, каково мне было тереться о пикантные округлости дочери Стамвиля и ее названой сестры. Вероятно, я мог бы порезвиться с любой из них, стоило только захотеть, но меня сдерживала боязнь нарушить законы гостеприимства. Позже, поближе познакомившись с образом жизни и нравами крестьян, я узнал, что как раз мое воздержание было выражением своего рода неблагодарности. Девушки были в полном соку и, конечно, испытывали вожделение, а я пренебрегал ими. Но я понял это после того, как покинул дом Стамвиля. У этих девушек, должно быть, сейчас уже взрослые дети. Надеюсь, они простили меня за отсутствие галантности.

Я платил за свое жилье. Работы в крестьянском хозяйстве почти не было, так как стояла зима. Приходилось только расчищать домик от снега и поддерживать огонь в печи. Никто из домочадцев не проявлял любопытства в отношении меня.

Они не только не задавали мне вопросов, но и, я в этом уверен, даже не имели намерения задавать их. Да и остальные жители деревни не совали свой нос в мои дела, но присматривались ко мне, хотя и не больше, чем к любому незнакомцу.

Иногда в деревню попадала газета, и тогда она переходила из рук в руки, пока все не прочитывали ее. После этого газету клали на полку в винной лавке, стоящей у входа на деревенский базар. Зайдя как-то в лавку, я просмотрел замызганные и захватанные листы, и узнал о некоторых событиях прошедшего года. Так, я прочел, что свадьба моего брата Стиррона состоялась в намеченный срок с соответствующей помпой. Со старой пожелтевшей бумаги на меня смотрели его озабоченные глаза на осунувшемся лице. Рядом с ним была сияющая невеста, но я, как ни старался, не мог разглядеть черты ее лица. Из газет я узнал, что существовала напряженность в отношениях между Глином и Креллом. Все началось с рыбной ловли в спорных прибрежных районах. Дело дошло до того, что в пограничных стычках начали погибать люди. Мне было жаль, что генерал Кондорит, сектор границы которого находится между Креллом и Глином, был лишен возможности хоть каким-нибудь образом

втянуть Саллу в конфликт. Морское чудовище, покрытое золотистой чешуей и имеющее длину, в десять раз превышающую человеческий рост, видели в заливе Шумар рыбаки из Маннерана. В том, что они доподлинно его видели, они дали страшную клятву в Каменном Соборе. Старший септарх Трайша, про которого говорили, что он — старый кровожадный бандит, отрекся от престола и ныне жил в церкви высоко в западных горах в качестве простого исповедника паломников, направляющихся в Маннеран. Вот, пожалуй, и все новости. Я не нашел упоминания о себе. Наверное, Стиррон утратил интерес ко мне и отказался от намерений изловить меня и вернуть в Саллу.

Возможно, теперь не очень опасно предпринять попытку убраться из Глина.

Однако, как мне не терпелось выбраться поскорее из этой лесистой провинции, где от меня отвернулись родственники, а совершенно чужие люди отнеслись с любовью, две вещи удерживали меня. Во-первых, я намеревался остаться у Стамвиля до тех пор, пока не смогу помочь управиться с весенними работами, тем самым отплатив ему за доброту ко мне. А во-вторых, я не осмеливался пуститься в столь опасный путь, не

побывав у исповедника: ведь если вдруг случится какое-то несчастье, мой дух воспарит к богам, все еще полный горькой отравы. В этой деревушке не было священника, и жители ее исповедовались у странствующих монахов. Зимой странники появлялись довольно редко, и поэтому с начала прошедшего лета, когда один из монархов посетил лагерь лесорубов, я был вынужден оставаться без отпущения грехов.

Я ощущал необходимость выговориться.

Но вот прошла последняя зимняя вьюга, одевающая каждую ветку сказочным ледяным нарядом, и сразу же наступила оттепель. Все растаяло.

Клек оказался окруженным океаном грязи, что, однако не мешало приезду исповедника на разболтанном старинном краулере. Он обосновался в старом, заброшенном деревенском бараке, к которому притащилось по невылазной слякоти деревенских жителей. Я отправился к нему на пятый день после его появления, когда очереди стали не такими длинными. В течение двух часов я освобождал себя от накопившегося бремени, открыв перед священником, кто я, и не утаив от него свой новый взгляд на монархов. Я рассказал ему о горестях и поведал о желаниях, которые по-

давлял в себе. Очевидно, моя исповедь оказалась чересчур тяжела для неповоротливых мозгов странствующего монаха. Исповедник пыхтел и потел не меньше, чем я, извергающий на него потоки слов. К концу исповеди он дрожал и едва не потерял способность говорить. Интересно, а где сами исповедники могут избавиться от бремени всех тех грехов и печалей, которые они впитывали от своих клиентов? Им запрещено говорить обычным людям что-либо из того, о чем они узнали во время исповеди. И есть ли у исповедников исповедники, которым они могут сообщить то, о чем нельзя сказать никому другому? Я не понимаю, как исповедник может выдержать без чьей-либо помощи ту лавину печали, которую обрушивают на него ежедневно его клиенты.

Итак, я очистил свою душу, теперь следует дождаться посева, до которого оставалось совсем уже недолго. Времени на созревание урожая в суровом климате Глина отводится немного. Приходится сажать семена в почву еще до того, как зима полностью ослабит свою хватку, чтобы захватить каждый луч весеннего солнца. Стамвиль подождал немного, боясь что после оттепели снова закружит жестокая вьюга, а затем, хотя земля представляла собой вязкую жижу, он и его

домочадцы вышли на работу, чтобы засеять поле хлебными злаками, посадить в огороде овощи, а в палисаднике — пряные цветы.

Согласно обычаю, сеять выходили обнаженными. Увидев, как все раздеваются, я с удивлением спросил:

— Зачем в такое холодное время выходить в поле совершенно нагими?

— Грязь очень скользкая, — объяснила названая сестра дочери Стамвиля, — и голую кожу легче отмыть, чем отстирать одежду.

Посев занял восемь дней. На девятый, пожелав Стамвилю и его семье хорошего урожая, я покинул деревню Клек и начал свое путешествие к побережью.

19

Один из соседей Стамвиля в первый день подвез меня в своей телеге.

Почти весь второй день я шел пешком, третий и четвертый мне удалось проехать верхом, а пятый и шестой пришлось снова идти пешком. Было еще холодно, но воздух был уже весенним, почки на деревьях набухали.

Возвращались перелетные птицы.

Я сделал большой крюк, обойдя Глейн, чтобы не подвергаться излишнему риску, и, насколько мне помнится, без особых происшествий быстро добрался до Бьюмара — главного морского порта Глина и второго по численности населения города в этом государстве.

Он не так уродлив, как Глейн, хотя вряд ли в нем можно найти что-нибудь привлекательное. Сразу же по прибытии я узнал, что пассажирское сообщение между Глином и южными провинциями прекратилось три месяца назад из-за нападений пиратов, базирующих в Крелле. А так как Глин и Крелл ведут ныне необъявленную войну, добраться до Маннерана можно лишь

транзитом через Саллу; но подобный шаг едва ли следовало расценить иначе, как самоубийство. Деньги у меня были. Я нашел себе комнатку в доме, где была таверна поблизости от гавани и несколько дней провел, собирая различные слухи о положении на море. Хотя пассажирское сообщение было отменено, торговое мореплавание, как с удивлением обнаружил я, не прекращалось, так как он него зависело благосостояние Глина. Караваны торговых судов, хорошо вооруженных, продолжали ходить строго по расписанию. Хромой моряк, чья комната располагалась рядом с моей, рассказал как-то (после того как основательно подогрелся голубым вином из Саллы), что купеческий караван выйдет из гавани в ближайшую неделю и что его наняли на одно из судов. Я уже было задумал напоить его допьяна и позаимствовать документы, как это делается в рассказах о пиратах для детей, но подвернулся сам собой менее драматичный способ — я выкупил его контракт.

Сумма, которую я предложил ему, была больше той, которую он мог заработать, плывя в Маннеран и обратно, поэтому моряк был счастлив взять деньги и позволить мне занять его место. Мы провели всю ночь, обсуждая его обязанности

на судне, поскольку я ничего не знал о морской службе. К наступлению утра я по-прежнему ничего не знал, но уже понимал, каким путем смогу имитировать тот минимум осведомленности, без которого пребывание на судне вряд ли станет возможным.

Без всяких помех я взошел на борт судна на воздушной подушке с низкими бортами, тяжело нагруженного товарами из Глина. Проверка документов была чисто формальной. Я получил ключи от каюты и неплохо устроился. В первые дни добрую половину работ, порученных мне, удавалось выполнять либо глядя, как это делают другие, либо опираясь на собственную интуицию. Все остальное я делал кое-как, и вскоре мои коллеги-моряки признали во мне «халтурщика», однако своим знанием они не делились с офицерами. Какая-то солидарность все же есть среди низших чинов. А, кроме того, порученную мне работу, хоть и с грехом пополам, но я выполнял! Я еще раз убедился в правомерности своего мрачного мнения о людях, которое сложилось за время моего отрочества среди аристократов. Моряки, подобно лесорубам и крестьянам, относились друг к другу искренне и добродушно, чего я никогда не встречал среди тех, кто более

неукоснительно придерживался Завета. Ту работу, которую я еще не мог выполнить сам, обычно они делали за меня, а я стремился освободить их от тяжелого физического труда, и все шло хорошо. Я драил палубы, чистил фильтры и проводил бесконечные часы, дежуря у орудий, чтобы своевременно отразить нападение пиратов. Но мы прошли мимо опасных берегов Крелла без происшествий и плыли вдоль покрытой уже весенней зеленью Саллы.

Нашим первым пунктом назначения был Кофальон, крупнейший порт Саллы.

Стоянка продлится пять дней. Меня это тревожило. Нанимаясь на судно, я не знал, что планировалась остановка в каком-то из пунктов моей родины.

Сначала я решил притвориться больным и не выходить на палубу, пока мы будем стоять в Кофальоне. Затем я отверг такое решение, как трусливое, уговорив себя, что мужчина должен часто проверять себя опасностями, если хочет оставаться настоящим мужчиной. Поэтому я смело погрузился в кутежи и распутство вместе со своими товарищами, полагаясь на то, что время сильно изменило мое лицо и вряд ли кто узнает пропавшего брата септарха Стиррона в

грубой одежде моряка в таком городе, как этот. Игра вышла на славу меня не разоблачили за эти пять дней.

Из газет и подслушанных разговоров я узнал о происшедшем за те полтора года, что не был в Салле. Стиррона, я понял, народ считает хорошим правителем. Он провел свою страну через голодную зиму, закупив в Маннеране дополнительно пищевые продукты на очень выгодных условиях. После страшной осени и зимы, нашим фермерам стало везти больше. Налоги были сокращены.

Люди казались довольными жизнью. Жена Стиррона родила ему сына, лорда Дарива, который теперь стал наследником престола старшего септарха. Теперь ожидали рождение еще одного сына. Что касается лорда Кинналла, брата септарха, то о нем ничего не говорили. Он был забыт, как будто его никогда и не было.

Мы делали еще остановки: несколько — в южной Салле, несколько — в северной части Маннеранна, и в назначенное время пришли в огромнейший морской порт на юго-востоке нашего материка — в священный город Маннеран, столицу провинции, носящей то же название. И именно в Маннеране я начал жизнь заново.

20

Маннеран — страна, которой покровительствуют боги. Воздух здесь теплый и свежий, весь год напоенный благоуханием цветов. Зимние холода не проникают так далеко на юг, и маннеранцы, когда им хотелось увидеть снег, отправлялись в туристические вояжи к вершинам Хашторов и с удивлением рассматривали необычное белое холодное вещество, которое в других землях в морозное время года отнюдь не было в диковинку.

Теплое море, омывающее Маннеран с востока и юга, дает столько пищи, что ею можно прокормить полматерика, а на юго-западе расположен столь же обильный дарами моря залив Шумар. Войны редко затрагивали Маннеран, защищенный щитом гор от народов, живущих к западу от него, и отделенный от своего соседа на севере Саллы величественным руслом реки Войнн. Много раз мы пытались напасть на Маннеран со стороны моря, но у нас не только не было каких-либо успехов, но и надеяться на успех не приходилось! Когда Салла серьезно бралась за оружие, ее противником всегда был Глин.

Сам же город Маннеран получил как бы особое божественное благословение. Он располагается в наилучшей естественной бухте на всем материке Велада, образованной двумя противоположными горными отрогами, направленными у входа в нее таким образом, что не требуется волнорезов и корабли легко становятся в ней на якорь.

Эта гавань служит одним из наиболее мощных источников процветания всей провинции. Она является главным связующим звеном между восточными и западными провинциями, поскольку через Выжженные Низины торговые пути не проложены. А поскольку наша планета бедна натуральным горючим, то воздушное сообщение так и не получило особого развития. Поэтому корабли из девяти западных провинций проходят на восток через залив Шумар к порту Маннерана, а маннеранские корабли регулярно курсируют к западному побережью.

Гавань Маннерана — единственное место на нашей планете, где в толпе можно встретить людей из всех тринадцати провинций и где одновременно можно увидеть все тринадцать флагов. И благодаря этому неиссякаемый поток богатств оседает в сундуках маннеранцев. К тому же внутренние округа этой провинции богаты пло-

дородными почвами, вплоть до самых склонов горной гряды Хаштор, которые в этих широтах свободны от снега, и только вершины, как я уже говорил, покрыты вечным льдом. На фермах в Маннеране собирают по два-три урожая в год. Наконец, маннеранцы имеют свободный доступ к Влажным Низинам, где выращивают наиболее причудливые и высоко ценимые фрукты и специи. Неудивительно, что те, кто любит роскошь, стремятся сюда, чтобы попытать счастья.

И, словно этих подарков судьбы им недостаточно, маннеранцы убедили весь мир, что живут в наиболее священном месте на Борсене, и приумножают свои доходы содержанием святилищ, которые являются приманкой для паломников. Скорее, Трайш должен был стать местом паломничества, поскольку именно там находятся первые поселения наших предков и учрежден Завет.

Действительно, имеется несколько мест поклонения в Трайше, и жители Запада, слишком бедные, чтобы совершить паломничество в Маннеран, посещают их. Однако Маннеран учредил себя в качестве святая святых, причем в этом ему помогли внутренняя убежденность и энергичная реклама. В этом заключается определенная доля

иронии, поскольку маннеранцы обращаются с Заветом с гораздо большей вольностью, чем жители остальных тринадцати провинций. Жизнь в тропическом климате определенно размягчила их сердца, и они открывают свои души друг другу в такой степени, что это могло бы служить поводом для остракизма в Глине или Салле. И все же у них есть Каменный Собор, где случаются, как указано в достоверных источниках, чудеса и где, как предполагают, боги выступали во плоти всего семьсот лет назад. Каждый надеется, что в День Поименования его ребенок получит свое взрослое имя именно в Каменном Соборе. Со всего континента люди стекаются для участия в этом празднике к огромной выгоде хозяев гостиниц. Должен вам заметить, что я сам получил свое взрослое имя в Каменном Соборе.

21

Когда мы прибыли в Маннеран и портовые грузчики принялись разгружать корабль, я получил расчет, покинул корабль и отправился в город. В конце причала я остановился, чтобы получить пропуск из порта у маннеранских чиновников.

— Сколько времени вы проведете в городе? — вежливо поинтересовались у меня, и я также вежливо ответил, что намерен пробыть в городе только три дня, хотя моим истинным намерением было устроиться здесь на всю оставшуюся жизнь.

До этого я дважды бывал здесь: первый раз в раннем отрочестве, когда меня связали узами побратимства с Халум, второй раз в семилетнем возрасте в День Поименования. В памяти немного осталось от тех посещений.

Запомнились бледно-розовый, зеленоватый и голубой цвет зданий, бурная вечнозеленая растительность, темный торжественный интерьер Собора. И теперь, по мере того как я удалялся от берега, воспоминания обрушивались на меня и яркие картины детства снова стали проходить

перед моим затуманенным взором. В отличие от северных городов Маннеран выстроен не из камня, а из особого искусственного гипса, который затем раскрашивают пастельными красками. В результате каждая стена как бы присоединяет свой голос к общему радостному праздничному хору, воспевающему изысканность архитектуры. День был солнечным, яркие солнечные зайчики весело играли на стенах и в окнах домов. От света слепило глаза, и мне пришлось прищуриться.

Маннеранские архитекторы придают большое значение декоративным украшениям зданий: балюстрадам, служащим для ограждения балконов, с причудливым орнаментом, ярким лепным карнизам, витиеватым ажурным решеткам на окнах. Глазу северянина сначала это кажется безвкусным нагромождением кричащей пустой роскоши, однако постепенно город предстает перед ним во всей своей элегантности, изяществе и соразмерности. Кроме того, повсюду много растительности: деревья стоят рядами на каждой стороне улицы, вьющиеся растения, выращиваемые в ящиках, свисают с подоконников, вдоль тротуаров разбиты цветочные клубы, дворы полностью скрыты высокими кустарниками и кронами экзотических деревьев. Все это вместе

представляет собой сочетание буйства растительности джунглей и строгой продуманности городской планировки. Маннеран во многих отношениях замечательный город!

Однако невыносимая жара совершенно измучила меня. Душный зной обволакивал улицы. Воздух был влажным и тяжелым. Я чувствовал жару почти на уровне осязания. Она хватала и душила. Казалось, сожми воздух в кулак и из него потечет влага. Это был удушливый, насыщенный испарениями зной. Я промок насквозь. На мне была грубая, тяжелая, серая матросская роба, из тех что обычно носили зимой на борту торговых судов, плывущих из Глина. А в Маннеране стояло душное весеннее утро. Три десятка шагов в этой пышущей жаром атмосфере — и я был готов сорвать с себя одежду и идти дальше обнаженным.

Телефонная справочная дала мне адрес Сегворда Хелалама, отца моей названой сестры. Я нанял такси и поехал по этому адресу. Хелалам жил в прохладном тенистом пригороде, где среди огромных домов сверкали озера.

Высокая кирпичная стена защищала его дом от любопытных взглядов прохожих.

Я позвонил у ворот и стал ждать. Такси не уезжало, как будто водитель был уверен в том, что

меня немедленно отсюда прогонят. Голос, скорее всего, какого-нибудь дворецкого поинтересовался, кто я, и я ответил:

— Кинналл Дариваль из Саллы, побратим дочери верховного судьи Хелалама, желает встретиться с отцом его названой сестры.

— Лорд Кинналл умер, — равнодушно сообщили мне, — а вы — обманщик.

Я позвонил еще раз.

— Взгляните-ка на это и решите сами, умер ли он. — С этими словами я поднял до уровня телеобъектива свой королевский паспорт, который так долго прятал. — Перед вами Кинналл Дариваль, и будет очень нехорошо, если вы не пустите его к верховному судье.

— Паспорт можно украсть. Паспорт можно подделать.

— Откройте ворота!

Ответа не было. Я позвонил в третий раз, и на этот раз невидимый дворецкий сказал, что сейчас же вызовет полицию, если мне заблагорассудится продолжать в том же духе. Водитель такси, стоящего по другую сторону улицы, вежливо кашлянул. Я не ожидал подобного оборота дел.

Так что же, возвращаться в город, найти жилье и написать Сегворду письмо с просьбой о

свидании, приложив документированное свидетельство того, что я жив?

По чистой случайности я был избавлен от подобных хлопот. Подъехал роскошный черный экипаж, какими обычно пользуется только высшая аристократия, и из него вышел Сегворд Хелалам, верховный судья маннеранского порта. Тогда он был на вершине своей карьеры и шел с поистине королевским изяществом.

Был он невысок, но хорошо сложен, голова правильной формы, румяное лицо, благородная грива седых волос, взгляд цепкий и целеустремленный. Его ярко-голубые глаза были полны скрытого огня, строгость взгляда компенсировалась теплой, приветливой улыбкой. В Маннеране его считали человеком мудрым и уравновешенным.

Я тотчас же бросился к нему с радостным возгласом: «Названый отец!».

Обернувшись, он изумленно посмотрел на меня и между мной и верховным судьей мгновенно выросли двое рослых молодых людей, сидевших вместе с ним в экипаже. Очевидно, они посчитали меня наемным убийцей.

— Ваши телохранители могут не беспокоиться, — начал я, едва сдерживая радость. — Разве

вы не в состоянии узнать Кинналла из Саллы?

— Лорд Кинналл умер в прошлом году, — быстро ответил Сегворд.

— Это для него самого очень печальная новость, — сделал я попытку сострить.

С этими словами я распрямился, придавая себе подобающий принцу вид впервые со времени злополучного ухода из столицы Глина, и сделал такой яростный жест в сторону охранников судьи, что они не выдержали и расступились. В последний раз этот человек видел меня на коронации моего брата. С тех пор прошло два года, и за это время последние следы детства сошли с моего лица. За год, проведенный на лесоповале, стали более могучими как мои плечи, так и все тело. Зимние вьюги обветрили мое лицо, а за недели плавания в море я приобрел унылый и неопрятный внешний вид.

Волосы спутаны, а борода взлохмачена. Постепенно взор Сегворда уловил эти превращения, и он уверился в том, что мои слова правдивы. Неожиданно он бросился ко мне и обнял с таким пылом, что от удивления я чуть не свалился на землю. Он выкрикивал мое имя, а я — его. Затем ворота отворились, он быстро провел меня внутрь, и предо мною вырос величественный

дворец кремового цвета. Цель моих странствий была достигнута!

22

Меня провели в красивое помещение и сказали, что оно будет моим.

Пришли две девушки-служанки и стащили с меня пропитанную потом одежду. Они повели меня, непрерывно хихикая, к огромной кафельной ванне, вымыли и надушили, причесали кое-как голову и бороду, при этом позволяя себе немного пощипывать и похлопывать мое тело. Они принесли мне одежду из прекрасной ткани, такую, какой мне не доводилось носить со дня моего отсутствия при дворе. Она была белая и приятная на ощупь, хорошо сидела и освежала тело. Затем они предложили мне украшения: тройное кольцо с вставленным в него (как я позднее узнал) осколком пола Каменного Собора, а также сверкающую подвеску из трех кристаллов, экспортируемых из Трайша, на кожаном ремешке. Наконец, после нескольких часов приведения себя в надлежащий вид я был допущен к верховному судье. Сегворд принял меня в комнате, которую называл своим рабочим кабинетом, но на самом деле это огромный зал, достойный двор-

ца септарха, где он мог бы восседать на троне, как монарх.

Я ощутил некоторую досаду, вызванную такими его притязаниями, так как Судья не был не только царственных кровей, но и не принадлежал к высшим кругам аристократии. У него не было никакого положения в обществе, пока его не назначили на эту высокую должность, выведшую его на дорогу известности и принесшую богатство.

Я сразу же спросил о своей названой сестре Халум.

— У нее все в порядке, — ответил судья. — Только вот душа омрачена известием о смерти названого брата.

— А где она сейчас?

— Отдыхает на острове в заливе Шумар, где у нас есть небольшая дача.

Я ощутил мороз по коже.

— Она замужем?

— К сожалению для всех, кто ее любит, нет…

— А хоть есть кто-нибудь?

— Нет, — печально покачал головой Сегворд. — Она, кажется, предпочитает сохранить целомудрие. Конечно, Халум еще очень молода. Когда она вернется, Кинналл, вероятно, вы сможете

уговорить ее. Пора бы подумать о замужестве, так как сейчас она вполне могла бы выйти замуж за прекрасного лорда, тогда как через несколько лет ее смогут опередить более юные соперницы.

— Когда она собирается вернуться с этого острова?

— Это может произойти в любой момент, — сказал верховный судья. — Как она поразится, когда обнаружит вас здесь, Кинналл!

Я спросил его относительно сообщений о моей смерти. Он ответил, что еще год назад прошел слух, что я сошел с ума и пустился странствовать, беспомощный, больной, страждущий. Сегворд улыбнулся, как бы говоря, что ему хорошо известна причина моего бегства из Саллы и что он не видит в этом ничего безумного.

— Затем, — продолжил он, — появилось сообщение, что лорд Стиррон послал своих представителей в Глин, чтобы они привезли вас для лечения.

Халум очень боялась за вашу безопасность в то время. А еще позже, когда прошло лето, один из министров вашего брата сообщил, что вы, блуждая зимой в Хашторах, попали в такую метель, из которой не смог бы выбраться ни один человек.

— Но, конечно, тело лорда Кинналла не было

обнаружено, и его так и оставили гнить в Хашторах вместо того, чтобы привезти в Саллу и достойно похоронить.

— Нет, никаких сообщений о том, что тело было найдено, не поступало.

— Тогда, очевидно, — усмехнулся я, — тело лорда Кинналла пробудилось ранней весной и отправилось на юг, словно призрак. Теперь же оно предстало перед вами, верховный судья!

— Очень внушительный призрак! — захохотал Сегворд.

— Хотя и усталый.

— Что же приключилось с вами в Глине?

— Холод и стужа, причем под этим я подразумеваю не только погоду.

Я рассказал ему о том, как пренебрежительно обошлись со мной родственники моей матери, поведал о своем пребывании в горах и об всем остальном. Выслушав меня, он захотел узнать о моих планах в Маннеране. На это я ответил, что у меня нет другого плана, кроме как найти какое-нибудь почтенное предприятие и преуспеть в той или иной должности, жениться и осесть в Маннеране, так как Салла закрыта для меня, а Глин вряд ли чем может меня соблазнить. Сегворд многозначительно кивнул. Здесь, сказал он, в его

конторе сейчас свободна должность секретаря. Работа эта приносит малые доходы и сулит еще меньший престиж, и было бы абсурдно просить принца королевских кровей Саллы согласиться ее принять, но все же это чистая работа, с прекрасными возможностями продвижения. Она может послужить трамплином, пока я привыкну к образу жизни в Маннеране.

Поскольку я о другом и не помышлял, то тут же дал свое согласие. Я сказал, что, несмотря на свое высокое происхождение, в сущности стал совсем другим человеком. Вся моя аристократичность теперь в прошлом, и с этим уже покончено, как и с детскими фантазиями.

— То чего здесь можно добиться, — сказал я рассудительно, — зависит только от личных достоинств, а не от обстоятельств рождения и связей.

Это, разумеется, было чистейшей болтовней. Вместо того чтобы извлечь выгоду из своей высокородности, я стремлюсь наживать капитал на том, что являюсь названым братом дочери верховного судьи порта, а эта связь стала для меня возможной только потому, что я родился в королевской семье.

Личные же достоинства абсолютно ни при

чем!

23

Ищейки с каждым днем все ближе окружают меня.

Вчера я долго бродил по окрестностям и обнаружил в направлении к югу от своего пристанища свежий след гусениц краулера, глубоко отпечатавшийся на сухой и хрупкой поверхности красного песка. А сегодня утром, праздно прогуливаясь возле места, где собираются птицероги, — гонимый, возможно, каким-то самоубийственным импульсом — я услыхал гудение в небе и, взглянув вверх, увидел над головой пролетающий военный самолет с опознавательными знаками Саллы. Воздушные корабли в этом районе нечастая вещь! Самолет стал снижаться, кружась, наподобие птицерога, но я прижался к изъеденной ветрами скале и, думаю, остался незамеченным.

Возможно, я ошибаюсь относительно целей этих вторжений. На краулере могла ехать группа охотников. Самолет мог совершать просто тренировочный полет. Но, думаю, все-таки я не ошибаюсь. Если и есть здесь охотники, то охотят-

ся они на меня. Сеть вокруг меня затягивается все туже. Я должен постараться писать быстрее и более кратко. Слишком многое из того, что мне нужно сказать, недосказано, и, боюсь, меня найдут, а я еще не закончу свою исповедь. Стиррон, дай мне хоть несколько недель!

24

Верховный судья порта является одним из высших чиновников в Маннеране. Его юрисдикции подлежит вся коммерческая деятельность в столице. Если возникают споры между купцами, они обращаются в суд, и решения суда действительны для представителей всех провинций. Так что капитан из Глина или Крелла, купец из Саллы или с запада — все они должны подчиняться решениям, когда стоят перед лицом верховного судьи, без права апелляции в суд своей родной провинции. Но будь Сегворд Хелалам только арбитром в купеческих дрязгах, вряд ли он добился бы того влияния, которым пользовался сейчас. Сотни лет на эту должность возлагались и другие обязанности, кроме вынесения судебных вердиктов. Только верховному судье дано право регулировать, сколько иностранных судов, ежегодно заходящих в гавань Маннерана, скажем, из Глина, либо Саллы, либо Трайша смогут получить разрешение на торговлю. Благосостояние почти всех провинций Борсена зависит от решения Сегворда. Поэтому его обхаживают септархи,

наделяют дарами, осыпают милостями и похвалами в надежде, что он разрешит их провинции послать в Маннеран хоть одно лишнее, незапланированное судно.

Таким образом, верховный судья выполняет роль своего рода экономического фильтра материка Велада, открывая или закрывая рынки сбыта товаров по своему усмотрению. И делает он это, повинуясь не своим капризам, а с учетом экономической конъюнктуры и степени интенсивности перетекания богатств из одной страны в другую. Поэтому невозможно переоценить значимость его в нашем обществе.

Должность эта не является наследственной, хотя и назначают на нее пожизненно. Смещен верховный судья может быть только после сложной и запутанной, а потому редко применяемой процедуры отзыва с должности. Таким образом, энергичный судья, такой, например, как Сегворд Хелалам, может стать более могущественным в Маннеране, чем сам старший септарх. В любом случае система власти, основанная на правлении септархов, находится в Маннеране в упадке. Два престола из семи остаются свободными последние сто лет, если не больше, а те, кто занимают оставшиеся пять, уступили большую часть своих

прерогатив гражданским служащим, став не более чем церемониальными фигурами. Старший септарх еще сохраняет некоторые остатки былого величия, но он обязан совещаться с верховным судьей порта по всем вопросам, касающимся экономики, а сам судья столь часто вмешивается в деятельность правительства Маннерана, что, по правде говоря, трудно определить, кто является правителем, а кто — гражданским служащим.

На третий день моего пребывания в Маннеране Сегворд взял меня с собой в здание суда подписать контракт на предоставление мне работы. Я, выросший во дворце, был потрясен видом штаб-квартиры правосудия порта; что меня поразило, так это не богатство (которого, кстати, и не было), а огромные размеры.

Широкое здание из желтого кирпича, четырехэтажное, массивное и приземистое, казалось, простиралось на целых два квартала от порта в сторону центра города. За обшарпанными столами в комнатах с высокими потолками сидела целая армия клерков, которые корпели над бумагами и шелестели бланками. Душа моя содрогнулась от мысли, что именно так я буду проводить все свои дни. Сегворд вел меня по нескончаемому коридору, принимая на ходу зна-

ки почтения со стороны работающих. То и дело он останавливался, чтобы с кем-то поздороваться, глянуть на незаконченный отчет, посмотреть на панель, где отмечалось перемещение каждого судна, находящегося на расстоянии трехдневного перехода до Маннерана. Наконец мы вошли в анфиладу прекрасных комнат, расположенных вдали от суеты и суматохи, которые я только что наблюдал. Показав мне прохладную великолепную комнату, примыкающую к его кабинету, Сегворд сказал, что именно здесь я буду работать.

Соглашение, которое я подписал, мало чем отличалось от контракта, предлагаемого исповедником. Я обязался не раскрывать никому ничего из того, что узнаю при выполнении своих обязанностей, под страхом ужасных наказаний. Со своей стороны суд порта обеспечивал меня работой на всю жизнь, гарантировал постоянное увеличение жалования и различные прочие привилегии, о каких принцы обычно не беспокоятся.

Я быстро обнаружил, что не рискую стать всеми забытым чернильным червем. Как и предупреждал Сегворд, жалованье мое было низким, а ранг в бюрократической иерархии ничтожным,

ответственность же на меня возлагалась немалая. По сути я был его личным секретарем.

Все секретные сообщения, направляемые верховному судье для просмотра, сначала попадали на мой стол. Моя задача заключалась в том, чтобы отсеять несущественные бумаги и подготовить краткий обзор остальных документов, кроме тех, которые, по моему мнению, были настолько важными, что их нужно было переправлять судье. Если судья порта являлся в своем роде экономическим фильтром материка Велада, я был фильтром такого фильтра, поскольку он читал только те бумаги, с которыми я считал нужным его ознакомить. Судья принимал решения, основываясь на тех данных, которыми именно я его снабжал.

Как только мне это стало ясным, я понял, что Сегворд направил меня по пути к большой Власти в Маннеране.

25

Я с нетерпением ожидал возвращения Халум с острова в заливе Шумар. В течение двух лет у меня не было общения с названными братом и сестрой, а исповедники не могли их заменить. Я очень мучился от того, что не могу, как бывало, сидеть допоздна с Халум и Ноимом и что нам теперь не дано открывать друг перед другом свои души. Ноим был где-то в Салле, и я не знал точно где, а Халум, хотя и ожидалось, что вот-вот вернется, так и не появилась ни в первую неделю моего пребывания в Маннеране, ни во вторую.

В один из дней третьей недели я рано покинул судебное присутствие, почувствовав себя плохо из-за сильной влажности и еще от усталости, вызванной стремлением как можно лучше справляться со своей новой ролью.

Меня отвезли в имение Сегворда. Проходя через центральный зал по пути в свою комнату, я увидел в его дальнем конце высокую стройную девушку, закапывающую в свои темные волосы золотистый цветок. Я не мог различить черты ее лица, но сомнений у меня не было, и я с радостью

закричал:

— Халум!

С этими словами я бросился через весь зал к девушке. Она обернулась на мой возглас, нахмурилась и… я изумленно остановился. Что означали эти строго поджатые губы и вопросительно изогнутые брови? Это было лицо Халум — темные глаза, гордый взгляд, тонкий нос, твердый подбородок, рельефные скулы — и все же это лицо было каким-то незнакомым. Неужели два года так сильно изменили ее? Главными различиями между Халум, какой я ее помнил, и женщиной, на которую сейчас смотрел, были выражение лица, наклон бровей, трепетание ноздрей, изгиб рта, как будто вместе с этим изменилась ее душа.

Были также и другие, менее значительные признаки, но их можно было приписать воздействию времени либо слабости моей памяти. Сердце мое учащенно билось, пальцы дрожали и страшный жар смущения все более охватывал меня. Может быть, следовало бы подойти к незнакомке и извиниться, но ноги отказывались мне повиноваться.

— Халум? — сказал я неуверенно хриплым голосом.

— Ее еще здесь нет, — звук напоминал падающий снег. Этот голос был более низким, чем у Халум, — более звучным и более холодным.

Я был поражен. Она так похожа на Халум, как будто они близнецы. Я знал, что у Халум есть сестра, но она еще ребенок — у нее даже не сформировались груди! Неужели Халум скрывала от меня, что у нее есть сестра-близнец или сестра, которая немного старше ее. Но сходство было ошеломляющим. Я читал когда-то, что на Старой Земле были известны способы создания искусственных существ из химикалий, сходство которых с каким-нибудь реальным лицом могло обмануть даже родную мать или любовника, и в этот момент меня легко было убедить, что эта технология, пройдя сквозь века, сквозь бездну космоса, возродилась и у нас, и что поддельная Халум, стоящая передо мной, — сотворенный дьяволом фантом.

— Простите мою глупую ошибку, — начал мямлить я. — Вас так легко принять за Халум.

— Это часто случается.

— Вы ее родственница?

— Дочь брата верховного судьи Сегворда.

Имя ее было Лоимель Хелалам. Халум никогда не говорила мне о своей двоюродной сестре, а ес-

ли и говорила, то я не помню этого. Как странно, что она утаила от меня существование своего зеркального отражения? Я назвал девушке свое имя, и Лоимель сказала, что много слышала обо мне.

Черты ее лица и поза несколько смягчились, а холодный голос немного оттаял. Что же касается меня, то я оправился от первого потрясения и даже воодушевился, так как Лоимель была красивой. Она вызывала желание — и в отличие от Халум — не была недоступной. Я мог, глядя на нее, убедить себя, что это настоящая Халум, и мне даже удалось обмануть себя отчасти и заставить воспринимать ее голос, как голос Халум. Вместе мы бродили по залу, разговаривали. Я узнал, что Халум приедет сегодня вечером и что Лоимель здесь для того, чтобы устроить ей сердечную встречу. Я также узнал кое-что и о самой Лоимель, так как, следуя неблагоразумной моде многих маннеранцев, она охраняла свою душу и личность не так строго, как северяне. Она сказала мне, сколько ей лет, — на год старше Халум (а также и меня). Она рассказала, что не замужем, только недавно отвергла домогательства отпрыска одной очень знатной семьи, правда, обедневшей. Она объяснила свое сходство с Халум тем, что их матери были двоюродными сестрами.

Еще через пять минут, когда мы уже ходили, взявшись за руки, она намекнула, что верховный судья давным-давно вторгся на брачное ложе своего старшего брата, поэтому на самом деле она сводная сестра Халум, а не двоюродная. Она рассказала мне еще о многих тайнах семьи Хелаламов.

Но я мог думать только о Халум! О Халум! Лоимель существовала для меня лишь как отражение облика моей названой сестры. Через час после нашей встречи мы были уже в моей спальне. Я убеждал себя, что это — Халум, но тут же ужаснулся своим фантазиям: ведь это запрещено. Меня даже бросало в жар от мысли осквернить плоть своей названой сестры… Но разум тут же убеждал меня, что я имею дело с девушкой по имени Лоимель.

В тот вечер моя названая сестра наконец-то вернулась с острова в заливе Шумар и заплакала от счастья, увидев меня живым и к тому же в Маннеране. Когда она стояла рядом с Лоимель, я снова поражался их удивительному сходству, хотя талия Халум была стройнее, а вырез на платье Лоимель более глубок. И все же казалось, что эти тела вылеплены по одной и той же модели. Однако поразительно различались их глаза,

являющиеся, по словам поэтов, светильниками, излучающими внутренний свет души. Излучение, которое исходило от Халум, было нежным, ровным и мягким, как первые лучи солнца, пробившиеся сквозь утренний туман. От глаз Лоимель веяло холодом, своей неприветливостью они напоминали угрюмый зимний полдень. Переводя взор с одной девушки на другую, я быстро сформулировал интуитивное заключение: Халум — чистая любовь, а Лоимель — откровенное "я". Но я, придя в ужас, тотчас отказался от этого приговора. Я ведь еще не знал Лоимель! Пока я знал только то, что она открытая и уступчивая. И я не имел права ставить ей это в вину.

Два года нисколько не состарили Халум. Они, напротив, навели на ее блеск красоту, и теперь ее очарование стало еще более ощутимым. Она сильно загорела и в своей короткой тунике казалась бронзовой статуей. Черты ее лица стали более угловатыми, что придало ей пикантность и почти что мальчишеский облик. Двигалась она плавно и грациозно. Дом был полон незнакомых мне людей, пришедших поздравить ее с возвращением домой. Обняв меня, она ушла, и я остался с Лоимель. Но к концу вечера я заявил о своих правах названого брата и отвел Халум в свою

комнату со словами:

— Нам нужно выговориться, за эти прошедшие два года много воды утекло.

Мысли хаотически теснились в голове: как рассказать ей в немногих словах обо всем, что случилось со мной, как узнать, что делала она эти года? Я был не в состоянии упорядочить свои мысли. Мы сидели, глядя друг на друга, на почтительном расстоянии, на том же самом диване, на котором я всего лишь несколько часов тому назад испытал близость с ее сестрой, притворяясь перед самим собой, что это Халум. Мы обменялись натянутыми фразами.

— С чего же начать? — сказал я, и в то же самое мгновение она произнесла эти же слова. А затем я услыхал свой собственный голос, который спросил безо всякого предисловия: считает ли Халум возможным, что Лоимель примет меня в качестве своего мужа?

26

Сегворд Хелалам поженил нас в Каменном Соборе в самый разгар лета, после нескольких месяцев подготовительных ритуалов и очищений. Мы соблюдали предписанные обычаем обряды, так как на этом настоял отец Лоимель, человек очень набожный. Ради него нам пришлось испытать целый ряд суровых исповедей. День за днем, стоя на коленях, я изливал душу некоему Джидду, наиболее знаменитому и самому дорогостоящему исповеднику в Маннеране.

После этого я и Лоимель отправились в паломничество в девять святилищ Маннерана. Там я тратил свое скудное жалованье на свечи и ладан. Мы даже свершили древнюю, редко практиковавшуюся ныне церемонию, известную под названием Смотрины, то есть я и она как-то на заре отправились на уединенный пляж в сопровождении Халум и Сегворда и, укрывшись от их глаз за особым пологом, предстали друг перед другом нагими, чтобы потом никто из нас не мог сказать, что вступая в брак один из будущих супругов скрыл какой-то дефект.

Обряд бракосочетания был грандиозным событием. В нем участвовали певцы и музыканты. Мой побратим, вызванный из Саллы, выступал в роли поручителя и на правах шафера соединил нас кольцами. Старший септарх Маннерана, высохший старик, посетил нашу свадьбу — этой чести удостаивались лишь верхушка местной аристократии. Мы получили поистине бесценные подарки. Среди них была золотая чаша с инкрустацией необычайно драгоценными камнями, изготовленная на какой-то иной планете. Ее прислал мой брат Стиррон вместе с сердечным посланием, выражавшим сожаление в том, что государственные дела требуют, чтобы он оставался в Салле. Поскольку я пренебрег его свадьбой, неудивительно, что он пренебрег моей. Но что меня поразило, так это дружественный тон его письма. Не ссылаясь на обстоятельства моего исчезновения из Саллы, но вознося благодарение небу за то, что слух о моей смерти оказался ошибочным, Стиррон передавал мне свое благословение и просил вместе с женой приехать в его столицу с визитом. По-видимому, он узнал, что я намерен постоянно жить в Маннеране и поэтому уже не буду его соперником. И следовательно, теперь он может снова питать ко мне теплые,

братские чувства.

Я часто удивлялся, и до сих пор удивляюсь, почему Лоимель благосклонно отнеслась ко мне. Она только что отвергла одного из принцев своей страны, так как он был беден. Я же, хоть и являюсь братом септарха, но нахожусь сейчас в изгнании и к тому же почти нищ! Почему же она предпочла меня? Из-за обходительного ухаживания? Но этого я при всем желании не мог сделать. Я еще молод, а потому неловок и скован. В надежде на то, что я стану богат и добьюсь большой власти? Но ставка на это пока весьма необоснованна. Из-за моей внешности? Безусловно, мне не приходится стыдиться своей внешности, но Лоимель не так глупа, чтобы пойти за меня только из-за широких плеч и могучих мускулов. Кроме того, даже во время самой первой встречи с нею я не проявил себя искусным любовником, да и потом вряд ли доставлял ей особое наслаждение. В конце концов, я пришел к заключению, что были две причины, из-за которых Лоимель взяла меня в мужья. Во-первых, она была одинока, а потому обеспокоена тем, что отвергнутый жених продолжит домогательства ее руки. В супружестве она видела тихую гавань, возможность обрести покой. К тому же я силен, красив и в жилах моих

течет кровь монархов. А во-вторых, Лоимель, завидуя Халум во всем, поняла, что выйдя за меня замуж, она приобретет то единственное, чем Халум никогда не будет обладать.

Причина же, по которой я просил руки Лоимель, была очень простой и недвусмысленной. На самом деле я любил Халум. Лоимель же имела облик моей любимой. Халум была запретна для меня, и поэтому я взял ту, которая так на нее похожа. Глядя на Лоимель, я волен был думать, что вижу Халум. Обнимая Лоимель, я мог внушить себе, что обнимаю Халум. Когда я предложил этой женщине себя в качестве мужа, то не испытывал любви к ней и имел причины думать, что и она, может быть, не чувствует особо расположения ко мне.

Кроме того, я не без оснований предполагал думать, что и впоследствии не смогу полюбить ее. И все же меня влекло к Лоимель, как к наиболее близкому заменителю объекта моих истинных вожделений.

Браки, заключенные на основе таких побуждений, редко бывают удачными.

Нашей любви так и не суждено было расцвести. Мы начали, как чужие, и чем дольше делили наше ложе, тем больше отдалялись друг от друга.

По правде говоря, я женился не на той женщине, которую знал и видел перед собой, а на той, которую воображал себе. Но в реальном мире моей женой была Лоимель, и это вынуждало нас жить вместе.

27

Тем временем я изо всех сил трудился в своем кабинете над тем, что поручал мне судья. Каждый день огромная стопа докладов и сообщений ложилась на мой стол, и ежедневно я пытался решать, что должно дойти до Сегворда, а чем ему можно пренебречь. Поначалу, естественно, у меня не было достаточно опыта, чтобы выносить правильные суждения. Верховный судья мне помогал, хотя, правда, оказывали мне помощь и некоторые старшие чиновники, прекрасно понимающие, что они гораздо больше приобретут, служа мне, чем пытаясь мешать моему неизбежному росту по службе. Я с большим усердием отдавался своему новому поприщу и уже к середине лета действовал столь уверенно, как будто провел на этой работе лет двадцать.

Большинство материалов, предлагаемых на рассмотрение верховному судье, было сплошной чепухой. Я быстро научился определять такого рода бумаги. Часто достаточно было лишь взглянуть на первую страницу. О многом мне говорил стиль сообщений. Человек, который

не умеет ясно изложить свои мысли, едва ли способен предложить что-либо, достойное для рассмотрения.

Стиль — это человек! Если изложение тяжеловесное и сбивчивое, то таков же и образ мыслей автора, а в этом случае чего стоят его суждения о деятельности портовой Судебной Палаты. Банальный ум порождает банальные рассуждения. Мне и самому приходилось писать немало бумаг, обобщая и давая в сжатом виде сообщения, имевшие определенную ценность. Все, чему я научился в области литературного письма, заложено в годы службы у верховного судьи. Мой стиль, естественно, отражает мои человеческие качества, а я всегда хотел быть искренним, непредвзятым, старался сообщить даже больше, чем другим хотелось на самом деле узнать. Следы этих качеств я нахожу в собственной прозе. У нее немало недостатков, но написанное мной мне нравится, ибо, хотя и у меня самого немало недостатков, я тем не менее собой вполне доволен.

Очень скоро я осознал, что наиболее могущественный человек в Маннеране по сути является марионеткой, которым управляю я. Я решал, какими делами следует заниматься верховному судье. Я выбирал, с какими прошениями он

должен ознакомиться. Я давал ему краткие объяснения, на которых основывались его решения. Сегворд совсем не случайно позволил мне заполучить такую власть. Кому-то ведь все равно необходимо исполнять скрытые от постороннего глаза обязанности, которые теперь возложены на меня. До моего приезда в Маннеран эту работу делал комитет в составе трех распорядителей, каждый из которых не прочь был когда-нибудь занять место верховного судьи. Боясь этих людей, Сегворд устроил так, что им были представлены более значительные с виду должности, но с меньшей ответственностью. И на их место он поставил меня. Его единственный сын умер еще в детстве. Все его покровительство распространялось лишь на меня.

Из любви к Халум, но и не пренебрегая собственными интересами, он предпочел сделать бездомного принца из Саллы одной из главенствующих фигур в Маннеране.

Все, уже задолго до того, как об этом догадался я, прекрасно поняли степень моего влияния. Многочисленные принцы присутствовали на свадьбе не из почтения к семье Лоимель, а для того чтобы заслужить мою благосклонность. Приветливые слова Стиррона подразумевали, что я, принимая

решения, не буду проявлять враждебности к Салле. Несомненно, мой царственный кузен Труис из Глина теперь со страхом думал, догадываюсь ли я, что именно благодаря ему все двери в домах моих родственников замкнулись передо мной. Он также прислал мне на свадьбу роскошный подарок.

Поток даров не оскудевал и после брачной церемонии. Постоянно продолжали преподносить всякие красивые подношения те, чьи интересы были связаны с деятельностью портовой Судебной Палаты. В Салле мы расценивали такие подарки не иначе, как взятки. Но Сегворд заверил меня, что в Маннеране взятки ничуть не портят репутацию, пока не влияют на объективность принятых решений. Теперь я понял, как, имея довольно скромное жалованье судьи, Сегворд мог себе позволить вести образ жизни, более приличествующий монархам. По правде говоря, я на самом деле выбросил из головы все мысли о взятках и, исполняя свои служебные обязанности, в каждом отдельном случае старался проявить объективность.

Вот так сложилась моя жизнь в Маннеране. Я овладел секретами ведения дел в Судебной Палате порта, развил в себе способности к ком-

мерческой деятельности, ощутил стратегию и тактику морской торговли и умело служил верховному судье. Я жил среди принцев, судей и богачей. Я приобрел небольшой, но роскошный дом поблизости от дворца Сегворда и вскоре нанял строителей, желая расширить его. Я посещал религиозные церемонии только в Каменном Соборе, что возможно лишь для сильных мира сего, и исповедоваться ходил к самому Джидде. Я был принят в избранное атлетическое общество и проявил свое искусство в метании оперенного копья на стадионе Маннерана.

Когда следующей ранней весной я посетил Саллу, Стиррон устроил мне такой прием, словно я был септархом Маннерана. Брат ни словом не обмолвился о моем бегстве из Саллы. Он был дружелюбен, хотя и несколько сдержан. Своего первого сына, который родился в ту осень, я назвал его именем.

Вскоре у меня родились еще два сына, Ноим и Кинналл, и две дочери, Халум и Лоимель. Мальчики были здоровыми и крепкими телом. Девочки, похоже, не уступят в свои зрелые годы в красоте своим тезкам. Мне доставляло большое удовольствие быть главой семьи. Я страстно мечтал о том времени, когда смогу взять сыновей

на охоту в Выжженные Низины или в поход по быстрым горным рекам. Пока же я ездил на охоту без них, и гарпуны многих птицерогов украшали стены моего дома.

Лоимель, как я уже говорил, оставалась для меня чужой. Не следует надеяться, что удастся проникнуть в душу жены столь же глубоко, как в душу названой сестры, но тем не менее, несмотря на соблюдаемую нами сдержанность, все же хочется хоть как-то приобщиться к внутреннему миру того, с кем живешь. Однако мне было доступно только тело Лоимель! Тепло и готовность, с которыми она встретила меня во время нашего знакомства, быстро исчезли, и она стала так же холодна, как северянки из Глина.

Однажды в любовном пылу с губ моих соскользнуло "я", как когда-то при встречах с продажными девками. Моя Лоимель тут же дала мне пощечину и оттолкнула от себя. С каждым годом мы все более удалялись друг от друга. У нее была своя жизнь, у меня — своя, и через некоторое время мы уже и не пытались преодолеть разделяющую нас пропасть. Она очень любила музыку, обожала купаться и загорать на солнце. Лоимель отличалась фанатичной набожностью. Мне же нравилось охотиться, заниматься спортом, играть со своими

мальчиками и, конечно же, работать. Мы изменяли друг другу. Это был очень холодный брак, однако мы практически не ссорились, так как не были достаточно близки для этого.

Ноим и Халум были со мной почти все это время, что служило для меня огромным утешением.

В Судебной Палате мой авторитет и круг обязанностей росли из года в год. Я не получил повышения, и ни на грош не увеличилось жалованье, однако все в Маннеране знали, что именно я управляю решениями Сегворда. Я прямо наслаждался неиссякаемым потоком «подарков». Постепенно Сегворд стал передавать свои полномочия мне. Он целые недели проводил в своем имении на острове в заливе Шумар, а я подписывал и составлял документы от его имени.

Когда мне исполнилось двадцать четыре года, а ему уже было за пятьдесят, он полностью уступил мне свои полномочия. Поскольку я не был уроженцем Маннерана, мне было невозможно занять место верховного судьи в случае смерти Сегворда. Однако он устроил так, что его преемником был назначен дружески настроенный ко мне, но довольно никчемный Нольдо Калимоль, который понимал, что фактическая власть будет в моих руках.

Вы правы, если считаете, что моя жизнь в Маннеране была легкой и беззаботной. Я наслаждался властью и богатством. За одной безоблачной неделей проходила другая, и хотя ни одному человеку не дано изведать полного счастья, у меня не было особых причин для неудовлетворенности.

Неудачу со своим браком я воспринял очень спокойно, в таком обществе, как наше, глубокая любовь между мужем и женой встречается довольно редко. Что же касается другой моей печали — безнадежной любви к Халум, то я глубоко упрятал ее внутрь себя, и когда она мучительно поднималась на поверхность моей души, я утешался визитами к исповеднику Джидду.

Вот так, без особых событий, я дожил бы до конца своих дней, если бы в мою жизнь не вошел землянин Швейц.

28

Земляне резко посещали Борсен. До Швейца я встречал всего лишь двоих — обоих еще в те дни, когда мой отец был септархом. Первый был высоким рыжебородым мужчиной, посетившим Саллу, когда мне было пять лет. Он был заядлым путешественником и перебирался с планеты на планету ради собственного удовольствия. Перед тем как прибыть в Саллу, он пересек в одиночку Выжженные Низины, причем, пешком! Помню, как сосредоточенно изучал я его лицо и фигуру, пытаясь найти знаки инопланетного происхождения — лишний глаз, может быть, рога, щупальца, копыта…

Разумеется, не обнаружив ничего подобного, я, не таясь, высказал свои сомнения в том, что он родом с Земли. Стиррон, имея предо мной преимущество в два года школьных знания, сказал язвительно в ответ на это, что все планеты в мире, включая нашу собственную, заселены людьми с Земли, а потому любой землянин выглядит точно так же, как и мы. Тем не менее, когда при дворе через несколько лет объявился еще один

землянин, я снова все еще старался обнаружить у него щупальца и клыки. Этот рослый добродушный человек со слегка смуглой кожей был ученым и собирал наши дикие растения, а также изготовлял чучела животных для какого-то университета в дальнем конце Галактики. Отец взял его с собой в Выжженные Низины, чтобы добыть птицерога. Я умолял взять и меня, но был выпорет за свое нытье.

Я мечтал о Земле. Я рассматривал в книгах изображение голубой планеты со многими материками и огромной, покрытой оспинами Луны, и думал: «Вот откуда мы все произошли. Это — начало всех начал!» Я читал о государствах и народах Старой Земли, о войнах и природных катаклизмах, о культурных памятниках и национальных трагедиях, о выходе к звездам и покорении их.

Было время, когда я воображал себя землянином, родившемся на древней планете чудес и перенесенным на Борсен в детстве в обмен на настоящего сына септарха. Мне хотелось иметь хоть какой-нибудь предмет с Земли, черепок, кусок камня, старинную реликвию — в качестве осязаемой связи с планетой, с которой разбрелось человечество. И мне очень хотелось, чтобы еще

какой-нибудь землянин очутился на Борсене. Я бы задал ему тысячу вопросов и выпросил для себя хоть что-то, имеющее отношение к Земле. Но никто больше не появлялся. Я вырос, и моя одержимость прошла.

Затем на моем пути встретился Швейц.

Он был коммерсантом, как, впрочем, и многие другие земляне. В то время, когда я познакомился с ним, он был на Борсене представителем инопланетной фирмы-экспортера. Швейц продавал промышленные изделия, а покупал меха и специи. Прибыв в Маннеран, он оказался вовлеченным в конфликт с местным импортером мехов с северо-западного побережья, который пытался всучить Швейцу партию низкокачественного товара по более высокой, чем было заранее оговорено, цене. Швейц возбудил дело, которое было передано в Судебную Палату. Случилось это примерно три года назад, почти сразу после ухода в отставку Сегворда Хелалама.

Обстоятельства конфликта были ясны как день, и в решении суда не приходилось сомневаться. Один из судей низшего ранга удовлетворил иск Швейца и приказал импортеру удовлетворить законные требования обманутого землянина. Обычно я не занимаюсь подобного рода дела-

ми. Но когда материалы разбирательства были переданы верховному судье Калимолю для формальной проверки, предшествующей утверждению приговора, я увидел, что истцом является землянин.

Меня охватило искушение. Давнишний интерес к землянам снова проснулся во мне. Мне страстно захотелось переговорить со Швейцом. Что я надеялся у него узнать? Ответы на те вопросы, которые мучили меня, когда я был мальчиком? Найти ключ к разгадке того, что неумолимо влечет людей к звездам? Или я просто ищу очередное развлечение в моей абсолютно безмятежной жизни?

Я попросил, чтобы Швейц пришел ко мне в контору.

Он вошел в мой кабинет почти бегом. Быстрая, энергичная фигура в одежде крикливых цветов и модного покроя. Улыбаясь весело, он в знак приветствия хлопнул меня по ладони, потом уперся кулаками в мой стол, постоял так несколько секунд, отошел на несколько шагов и стал расхаживать по комнате.

— Да сохранят вас боги, ваша милость! — воскликнул он.

Я подумал о его странном поведении, о его

сходстве с туго заведенной пружиной, отметил пристальный взгляд, свидетельствующий о беспокойстве по поводу вызова к могущественному чиновнику, пожелавшему обсудить дело, которое, как ему намекали, он уже выиграл. Однако позже я узнал, что его манера поведения отражала неугомонность натуры, а не вызывалась сиюминутной напряженностью.

Он был среднего роста, поджарым — ни жиринки под рыжевато-коричневой кожей. Волосы цвета темного меда спадали прямыми прядями на плечи. Яркие озорные глаза и быстрая лукавая улыбка как бы излучали мальчишеский задор.

Динамичный энтузиазм его уже тогда очаровал меня. Однако молод он не был.

На лице уже обозначились первые возрастные морщины, а волосы, хотя и густые, уже начали редеть на макушке.

— Садитесь, — сказал я — его прыжки досаждали мне — и задумался, с чего начать разговор. О чем спросить его, прежде чем он заикнется о Завете и замкнет губы? Расскажет ли он о себе и о своей планете? Есть ли у меня право влезать в душу чужеземца таким способом, на который я в жизни бы не отважился, имея дело с человеком с Борсена? Посмотрим! Любопытство подстегивало

меня. Я поднял пачку документов, касающихся его дела.

Поскольку он печально покосился на нее, я поторопился сказать:

— Сначала о делах. Решение суда удовлетворяется. Сегодня верховный судья Калимоль поставит свою печать, и в течение месяца вам будет выплачено то, что причитается.

— Приятные слова, ваша милость.

— Этим завершается официальная часть вашего визита.

— Такая быстротечная встреча? — удивился он. — Кажется, вряд ли была необходимость в вызове только для того, чтобы обменяться несколькими словами, ваша милость.

— Нужно признать, — улыбнулся я, — что вас сюда вызвали обсудить другие вопросы, совсем не касающиеся вашего иска.

— Что? Что, ваша милость? — он, казалось, был сбит с толку и поэтому встревожился.

— Хотелось бы поговорить с вами о Земле, чтобы удовлетворить праздное любопытство бюрократа, — начал я. — Разве нельзя? Не соблаговолите ли поговорить со мной об этом, раз деловые вопросы уже улажены? Вы знаете, Швейц, у нас всегда существовала тяга к Земле

и землянам.

Чтобы установить с ним некоторый контакт — он все еще выглядел хмурым и недоверчивым, — я рассказал ему о тех двух землянах, которых встречал ранее, и о детской убежденности, что они должны разительно отличаться от нас своим видом. Он расслабился, не без удовольствия выслушал меня и еще до того, как я кончил, сердечно рассмеялся.

— Клыки! — воскликнул он. — Щупальца!

Он провел пальцами по своей руке.

— Неужели вы на самом деле, ваша милость, думали что земляне такие причудливые существа? Клянусь всеми богами, ваша милость, я хотел бы иметь на своем теле что-нибудь необычное, чтобы позабавить вас!

Я морщился каждый раз, когда Швейц говорил о себе в Первом Лице. Его небрежные непристойности портили то настроение, которого я пытался достичь. Хотя я делал вид, что ничего не случилось, Швейц сразу же осознал свою ошибку и, вскочив, обеспокоенно произнес:

— Тысячу извинений, ваша милость! Иногда ваша грамматика забывается… понимаете, когда нет длительной привычки к ней…

— Не стоит беспокоиться, — поспешно остано-

вил я его.

— Вы должны понимать, ваша милость, что старые навыки отмирают с трудом и, пользуясь вашим языком, иногда впадаешь в грех выражаться более естественным образом, даже несмотря на…

— Конечно же, Швейц. Этот грех легко простить, — и, желая подбодрить его, я подмигнул. — Кроме того, я человек взрослый. Вы что думаете, меня так легко шокировать? — Я преднамеренно прибег к вульгарному словечку "я", чтобы он почувствовал себя свободнее. Уловка сработала. Он сел, успокоился, но в то утро уже не пробовал говорить со мной естественным для него образом. По сути, Швейц был очень осторожен в выражениях еще долгое время, правда, до тех пор, пока такие вещи не стали несущественными в наших взаимоотношениях.

Затем я попросил его рассказать о Земле — нашей общей отчизне.

— Планета небольшая, — начал он. — Очень далеко отсюда. Задушенная своими собственными древними отходами. Ее небеса, воды и суша отравлены ядами двух тысяч лет легкомыслия и перенаселения. Страшное место!

— Неужели в самом деле страшное? — изу-

мился я.

— Нечто привлекательное еще осталось. Но совсем немного, так что похвастаться нечем. Немного деревьев тут и там. Невысокая трава. Озера.

Водопад. Долина. Большей частью планета представляет собой выгребную яму.

Землянам очень часто хочется воскресить своих далеких предков, а затем задушить их. За то, что они не брали в расчет грядущие поколения. Они заполонили собой весь мир и исчерпали все его ресурсы.

— Значит, земляне создают империи в небесах, чтобы убежать от грязи в своем собственном доме?

— В общем-то, да. Хотя бы частично, — кивнул Швейц. — Там было столько миллиардов людей. И все, у кого хватило сил, покинули Землю. Но все-таки это нечто большее, чем просто бегство. Здесь и жажда постижения нового, и неудержимая тяга к путешествиям, и неутоленное желание начать все заново. Создать новые и более лучшие миры для людей! Целое ожерелье таких планет наброшено на лоно небес!

— Ну а те, кто не мог уйти? — спросил я. — На Земле до сих пор еще остались миллиарды людей? — Я подумал о материке Велада с его скуд-

ным населением в сорок-пятьдесят миллионов.

— О, нет-нет. Она теперь почти пуста. Планета — призрак. Разрушенные города, растрескавшиеся дороги. Там живет очень мало людей. И с каждым годом все меньше рождается.

— Но вы родились там?

— В Европе, — кивнул Швейц. — Не приходилось, правда, видеть Землю добрых лет тридцать. С четырнадцати лет.

— Но вы совсем не выглядите таким старым? — вырвалось у меня.

— Имелось в виду земное летоисчисление, — объяснил землянин. — По вашему же исчислению это соответствует тридцати годам.

— Такой же возраст, — я показал на себя. — Тоже пришлось покинуть свою родину до возмужания, — я говорил гораздо более свободно, чем надлежало бы, но не мог сдержать себя. Я вытащил сюда этого Швейца и теперь ощущал потребность предложить ему что-то в обмен.

— Пришлось покинуть Саллу еще мальчиком, чтобы поискать удачу в Глине. Но судьба приласкала меня только в Маннеране. Похоже, Швейц, мы с вами — оба странники.

— Значит, между нами есть что-то общее.

— Почему вы покинули Землю?

— По тем же самым причинам, что и все остальные. Чтобы отправиться туда, где воздух еще чист и где у человека есть еще хоть какая-то возможность стать кем-то. Всю свою жизнь там, на Земле, проводят только те, кто не может не оставаться на ней.

— И вот перед этой планетой благоговеет вся Галактика! — воскликнул я. — Планета, породившая столько легенд! Планета мальчишеской мечты! Центр Вселенной — просто жалкий прыщ! Нарыв!

— Вы точно описали ее.

— И все же перед ней благоговеют!

— О, почитайте ее, молитесь на нее, кланяйтесь ей! — воскликнул Швейц. Глаза у него блестели. — Мать человечества! Первооснова всех миров!

Почему же не почитать ее, ваша милость? Благоговейте перед смелыми начинаниями, предпринятыми там. Воспевайте высокие стремления, которые выросли из грязи. И чтите также наши ужасные ошибки. Древняя Земля совершала ошибку за ошибкой и нечаянно задушила сама себя, чтобы вы были избавлены от тех же мучений и болезней. — Швейц хрипло рассмеялся. — Земля погибла во искупление ваших, люди

неба, грехов. Разве в этом нет чего-то мистического? Вокруг такой идеи можно организовать новую религиозную веру.

Земля — искупительница, а жители ее — жрецы этой религии. — Он неожиданно наклонился вперед и спросил: — Вы — человек верующий, ваша милость?

Я был застигнут врасплох рвущейся наружу интимностью этого вопроса, но все-таки сдержался.

— Разумеется, — кивнул я.

— Вы ходите в церковь? Беседуете с исповедниками и все такое, не так ли?

Он поймал меня. Я не мог отмалчиваться.

— Да. Но почему вас это удивляет?

— Удивляет? Отнюдь. Похоже, что на Борсене все искренне набожны. И это поражает меня. Вы понимаете, ваша милость, в вашем собеседнике «веры» нет ни на йоту! Когда-то пытался верить, неоднократно пытался, старался изо всех сил убедить себя в том, что в мире есть высшие существа, определяющие судьбу каждого человека. Иногда мне это почти что удавалось, ваша милость, вера вот-вот должна была проникнуть мне в душу, но скептицизм всякий раз закрывал все пути к набожности. И, в конце концов, пришлось сказать: «Нет, этого не может быть, это невозможно. Это

противоречит логике и здравому смыслу. Логике и здравому смыслу!».

— Но как же вы могли прожить свою жизнь, если не соприкасались ни с чем святым?

— Большую часть времени вполне удавалось. Большую часть!

— Ну а остальное время?

— В остальное время приходилось чувствовать бремя знания того, что являешься абсолютно одиноким во всей Вселенной. Нагой под звездами, их свет обжигает кожу, жжет холодным огнем, и никто не поможет прикрыться от этого адского огня, не предложит убежища, и некому молиться о помощи, вы понимаете? Небо холодное как лед, и некому его согреть. Нет никого! Кроме убеждения, что существует некто, кто мог бы дать утешение. Хочется опереться на какую-нибудь систему веры, хочется покориться, пасть на колени, понимаете? Верить, иметь веру во что-нибудь! Но ее нет, нет такой способности — верить! И тогда приходит смертельный страх. Плач без слез.

Бессонные ночи…

Лицо Швейца горело, глаза стали дикими от возбуждения. У меня не было уверенности, что он в своем уме. Землянин перегнулся через стол, схватил меня за руку — этот жест ошеломил ме-

ня, но я не отдернул ее — и хрипло произнес:

— Вы верите в богов, ваша милость?

— Конечно!

— В самом буквальном смысле? Вы думаете, что существует бог путешественников, бог рыбаков, бог крестьян и бог, покровительствующий септархам?...

— Существует сила, — перебил я его, — которая поддерживает порядок и незыблемость Вселенной. Сила, которая заявляет о себе различными способами, и ради того, чтобы перекинуть мост над пропастью, разделяющей нас и эту силу, мы рассматриваем каждое из ее проявлений как «божественное», да, и возносимся духом своим то к одному из ее проявлений, то к другому в зависимости от наших нужд. Те из нас, кто не получил должного образования, воспринимают богов буквально, видят в них существа с лицами и индивидуальностями. Другим же свойственно метафизическое воззрение на божественную силу; для таких людей это уже не просто какое-то племя могучих духов, живущих над нами. Но нет никого на материке Велада, кто бы оспаривал существование самой этой силы.

— Приходится только завидовать им, — покачал головой Швейц, — тем, кто воспитан в

культурной среде, обладающей такой связанной системой понятий и структур, тем, кто приобрел веру в абсолютные истины, тем, кто ощущает себя частицей божественного распорядка. Как, должно быть, чудесно обладать таким духовным богатством! Одна эта система веры может оправдать многие пороки вашего общества!

— Пороки? — внезапно я почувствовал, что оказался в роли обороняющегося. — Какие это пороки?

Швейц прищурил глаза и провел языком по губам. Возможно, он лихорадочно взвешивал, то ли я разгневан его словами, то ли они заставили меня страдать.

— «Пороки», вероятно, слишком сильное слово, — ответил он. — Лучше было бы назвать их несуразицами, нет, еще лучше — ограниченностью вашего общества. Речь идет о необходимости тщательно скрывать свой духовный мир от своих сограждан. Вам нельзя в разговоре упоминать о себе, вам претит откровенность в беседах, вам кажется безнравственным открыть свою душу…

— Разве перед вами сегодня не раскрыта душа, вот в этой самой комнате?

— О, — развел руками Швейц. — Но вы же разговариваете сейчас с чужеземцем, с человеком,

не являющимся частицей вашего общества, с человеком, у которого, как вы тайно подозреваете, могут быть рога и клыки!

Вы бы допустили подобную вольность с кем-либо из жителей Маннерана?

— Никто еще в Маннеране не задавал подобных вопросов!

— Может быть, и так. Видимо, вам недостает свойственной уроженцам этой планеты натренированности в самоподавлении. Эти вопросы относительно философских аспектов вашей религии нарушили уединенность вашей души, ваша милость? Они для вас оскорбительны?

— Нет возражений против того, чтобы поговорить о таких вещах, постарался успокоить я землянина, но, думаю, это прозвучало не очень убедительно.

— Но ведь такой разговор запрещен для вас, не так ли? Мы редко прибегали к неприличным выражениям, разве что были случайные обмолвки, но мы рассматривали непотребные понятия, в каком-то смысле даже запретные. Вы позволили себе несколько раздвинуть стены, окружающие вас, не так ли? За это можно только поблагодарить вас. Потому что в течение столь долгого пребывания здесь не удалось ни разу поговорить

свободно с кем-либо! Вы понимаете, ни разу! Пока сегодня не возникло ощущения, что вы соблаговолили немного раскрыть себя. Это необычное переживание, ваша милость.

На лице у него вновь появилась усмешка. Он стал порывисто ходить по кабинету.

— Поймите, не было желания критиковать ваш образ жизни. Хотелось, на самом деле, даже похвалить одни его стороны и попытаться понять другие.

— Какие же похвалить, а какие — понять?

— Понять ваш обычай возводить стены вокруг себя. Похвалить легкость, с которой вы принимаете божественное присутствие. Можно только этому завидовать. Как уже говорилось, ваш собеседник воспитан без веры как таковой, и поэтому не способен воспринять веру. Голова у таких людей всегда полна скептических вопросов. Не дано по складу своего ума постигать то, чего нельзя увидеть или почувствовать, и поэтому приходится быть всегда одиноким, странствовать по глубинам Галактики в поисках подступов к вере, пробуя то одно, то другое, но никогда не обнаруживая их…

Швейц на некоторое время умолк, лицо его горело и было покрыто потом.

— Так что, вы понимаете, ваша милость, что у вас здесь есть нечто драгоценное, эта способность ощущать себя частицей более могучей силы.

Хотелось бы этому научиться у вас. Разумеется, весь вопрос состоит в воспитании. Борсен до сих пор признает богов. Земля давно отринула бесплодную догматику. Цивилизация еще молода на этой планете. Для того чтобы религия изжила себя, нужны тысячелетия.

— Кроме того, — вмешался я, — эту планету заселили люди, обладавшие сильными религиозными убеждениями. Они поставили своей целью сохранить их и предприняли огромные усилия, для того, чтобы донести их до своих потомков.

— И это тоже. Ваш Завет! Когда он был создан… полторы тысячи, две тысячи лет назад? Он мог бы давно обратиться в прах, но выстоял! Он сильнее, чем когда-либо. Ваша благочестивость, ваше смирение, ваша самодисциплина…

— Тем, кто не способен был воспринять идеалы первых поселенцев, подчеркнул я, — не разрешалось оставаться среди них. И это оказало сильное воздействие на культуру, воспитание и нравственность будущих поколений.

Только таким путем бунтарство и атеизм могут быть изжиты из целой расы.

Согласные остаются, несогласные уходят.

— Вы говорите об изгнанниках, которые переселились на материк Шумар, ваша милость?

— Значит вам известна наша история?

— Естественно. История любой планеты, на которой приходится бывать, представляет огромный интерес. А вы там когда-нибудь были, ваша милость?

— Немногие из нас посещают этот материк, — неохотно вымолвил я.

— Но хотя бы изредка мечтали его посетить?

— Никогда.

— Есть такие, которые туда отправляются, — сказал Швейц и как-то странно улыбнулся мне. Я намеревался расспросить его об этом, но в это мгновение вошел секретарь с кипой бумаг, и Швейц начал прощаться.

— Не хочется отбирать драгоценное время у столь уважаемого человека, — начал вежливо кланяться он. — Возможно, в какой-нибудь другой раз можно будет продолжить этот разговор?

— Хотелось бы надеяться на это, — сказал я ему.

29

Когда Швейц ушел, я еще долго сидел за своим столом, откинувшись и закрыв глаза, и повторял про себя сказанное во время нашей беседы. Как легко ему удалось проникнуть сквозь мои защитные барьеры! Как быстро мы начали говорить о самом сокровенном!

Правда, он — инопланетянин, и, общаясь с ним, я не был столь строго связан нашими обычаями. И все же мы сблизились с опасной скоростью. Еще минут десять — и я бы открылся перед ним так, как будто он был моим побратимом. Я был поражен и напуган своим забвением благопристойности и той легкостью, с какой он коварно принудил меня к откровенности.

Но разве он один в этом виноват?

Я послал за ним, я первый стал задавать скользкие вопросы. Я задал тон нашей беседы. Он почувствовал какую-то мою шаткость, ухватился за нее, быстро изменил ход разговора, и уже не я стал расспрашивать его, а он меня!

И я всецело смирился с этим. Опасливо, но все же с готовностью я открылся перед ним. Меня

влекло к нему, а его — ко мне. Швейц искуситель!

Швейц — человек, умело воспользовавшийся моей слабостью, скрываемой так долго, скрываемой даже от самого себя! Каким образом удалось ему понять, что я готов открыться?

Его быстрая эмоциональная речь, казалось, все еще отдавалась эхом в комнате. Вопросы, вопросы, вопросы. А затем — откровения!"Вы — человек верующий?... Вы верите в богов в буквальном смысле?... Если бы я только мог обрести веру!... Как я завидую вам!... Но пороки вашего общества!...

Отрицание своего "я"... Вы бы позволили подобные вольности с жителем Маннерана?... Скажите мне, ваша милость... Откройтесь мне... Я здесь так долго был одинок..." Между нами зародилась какая-то странная дружба. Я пригласил Швейца к обеду. Мы ели и разговаривали, щедро лилось голубое вино, изготовленное в Салле, и золотистое из погребов Маннерана, и когда оно разогрело нас, мы снова заговорили о религии, о неверии Швейца и о моей убежденности в том, что боги существуют. Халум вышла к нам. Заметив способность Швейца развязывать мой язык, она позже сказала:

— Ты тогда казался таким пьяным, каким никогда раньше не был, Кинналл. Твои глаза горели огнем. А ведь вы выпили всего лишь три бутылки вина. Должно быть, что-то другое разгорячило тебя и заставило так вольно говорить.

Я тогда рассмеялся и сказал, что на меня находит безрассудство, когда я остаюсь наедине с землянином, и что мне довольно трудно придерживаться обычаев, разговаривая с ним.

Во время нашей следующей встречи, в таверне близ здания Судебной Палаты, Швейц сказал:

— Вы любите свою названую сестру?

— Разумеется, каждый любит свою названую сестру.

— Здесь имелось в виду «любите» в совершенно определенном смысле, заявил он, понимающе усмехнувшись.

Я напрягся и невольно отпрянул от нее.

— Разве мы настолько опьянели в тот вечер? Что вы тогда услышали о ней?

— Ничего, — пожал плечами Швейц. — Об этом говорили ваши глаза, улыбка. Вам не нужны были слова.

— Может быть, лучше поговорим сейчас о чем-нибудь другом?

— Как будет угодно вашей милости.

— Это деликатная тема и… мучительная.

— Тогда извините, ваша милость. Просто хотелось получить подтверждение своим догадкам.

— Такая любовь как раз запрещена нам.

— Хоть и нельзя утверждать, что она никогда не возникает, не так ли? — спросил Швейц и, приблизив свой бокал, чокнулся со мной.

В то мгновение я твердо решил никогда больше с ним не встречаться. Он слишком глубоко заглянул внутрь меня и говорил о сокровенном чересчур свободно. Но дня через четыре, столкнувшись с ним на причале, я снова пригласил его на обед. Лоимель была недовольна и отказалась выйти к столу.

Халум тоже не пришла, сославшись на то, что приглашена к друзьям. Когда же я стал настаивать, она сказала, что в присутствии Швейца чувствует себя как-то неловко. Правда, в Маннеране был Ноим, и он присоединился к нашей трапезе. Мы понемногу пили, разговор поначалу не клеился. Постепенно мы все же разговорились и рассказали Швейцу, как я бежал из Саллы, опасаясь своего брата, а Швейц описал нам, как он покидал Землю. Когда в тот вечер землянин ушел, Ноим сказал, причем не очень-то осуждающе:

— В этом человеке много сатанинского, Кин-

налл.

30

— Этот запрет на самовыражение, — сказал Швейц, когда мы в очередной раз оказались вместе, — можете ли вы объяснить его, ваша милость?

— Вы имеете в виду, что запрещено говорить слова "я" и «мне»?

— Не только, поскольку при этом вам отказано в образе мышления, сопутствующем употреблению таких слов, как "я" и «мне», — покачал он головой. — Меня интересует заповедь, которая заставляет вас замыкаться в себе, ограничивать круг доверительного общения побратимами и исповедниками. Обычай возводить вокруг себя стены оказал влияние даже на вашу грамматику.

— Вы имеете в виду Завет?

— Да, Завет, — кивнул он.

— Вы говорили, что знакомы с нашей историей?

— Довольно глубоко.

— Вам известно, что наши предки были людьми суровыми, привычными к холодному климату,

не боялись трудностей, недоверчиво относились к роскоши и опасались праздности. Они прибыли на Борсен, чтобы избежать разлагающей скверны на своей родной планете.

— Разве это так? Они были просто беженцами, которые удирали от религиозных преследований.

— Беженцами от лени и потворству своим слабостям, — невесело сказал я. — И очутившись здесь, они установили такие нормы поведения, которые могли уберечь их внуков от морального разложения.

— Это и был Завет?

— Да, Завет! Обет, который они дали друг другу, обет, который каждый из нас дает своим соплеменникам в День Поименования. Мы клянемся никогда не взваливать свои неприятности на других, клянемся иметь сильную волю и быть твердыми духом, чтобы боги продолжали улыбаться, глядя на нас... И так далее, и так далее... Мы приучены ненавидеть демонов, которые прячутся за нашим "я".

— Демонов?

— Так мы это расцениваем. Демоны-искусители побуждают нас использовать других там, где мы должны полагаться только на свои собственные

силы.

— Там, где нет любви к себе, там нет ни дружбы, ни участия к судьбе других!

— Возможно, что так…

— А поэтому не может быть и доверия.

— Мы определяем долю ответственности посредством соглашения, — сказал я. — При этом нет нужды знать, что делается в душах других, раз уж правит Закон. И на материке Велада никто не позволяет усомниться в господстве этого Закона.

— Вы говорите о ненависти к своему "я", — произнес Швейц. — Однако вы, скорее, возвеличиваете его.

— Каким же образом?

— Живя порознь, постоянно отдаляясь друг от друга. Каждое "я" находится как бы в замке. Гордые. Несгибаемые. Равнодушные. Чужие друг другу. Да ведь это настоящее царство своего "я", а не его подавление!

— Вы странно смотрите на жизнь, — постарался я усмехнуться. — Разве не смешно, что вы выворачиваете наизнанку наши обычаи, якобы не замечая этого?

Швейц немного помолчал, а потом задал вопрос:

— И так было всегда? С самых первых поселе-

ний на материке Велада?

— Да, — кивнул я. — За исключением недовольных, о которых вы слышали и которые уплыли на южный материк. Остальные живут по заповедям Завета.

Наши обычаи со временем стали более суровыми: мы не имеем права теперь говорить о себе в первом лице единственного числа, поскольку это считается неприкрытым самообнажением, хотя в средние века это было вполне нормальным. С другой стороны, кое-что смягчилось. Когда-то нам запрещалось называть свои имена незнакомым людям. Мы заговаривали друг с другом, только если в этом была крайней необходимость. Сейчас мы стали более доверчивыми.

— Но не слишком, — захохотал Швейц.

— Да, не слишком! — согласился я.

— А разве это не мучает вас? Каждый человек наглухо закупорен в самом себе! И вам никогда не приходило в голову, что люди могут быть гораздо более счастливыми, ведя другой образ жизни?

— Мы придерживаемся Завета.

— С легкостью? Или это требует каких-то усилий?

— С легкостью, — ответил я без запинки. — Наши муки не так уж велики, если принять во

внимание, что у нас есть названые братья и сестры, с которыми мы общаемся откровенно, не прибегая к безличности. То же можно сказать и о наших исповедниках.

— Зато вы не имеете права жаловаться другим, не можете снять бремя с опечаленной души, вам нельзя просить совета, запрещено открыто изъявлять свои желания и нужды, вы вынуждены говорить только об отвлеченных предметах, — Швейц пожал плечами. — Извините, ваша милость, но приходится признавать, что все это очень трудно. Всегда, всю жизнь хотеть любви и тепла, соучастия, откровенности и наткнуться на строгое запрещение всего, что хотелось бы ценить особенно высоко…

— Вы были бы намного счастливее, — попытался иронизировать я, — найдя здесь теплоту, любовь и человеческое общение?

Швейц снова пожал плечами:

— Это всегда нелегко найти.

— Нам не грозит одиночество, так как у нас есть названые родственники. Если есть Халум и Ноим, всегда готовые дать утешение, зачем нужны чужие люди?

— А если их нет рядом? Если приходится странствовать где-то далеко, ну скажем, в снегах

Глина?

— Это приносит страдания. Зато и характер закаляется. Но это исключительное положение. Швейц, наша система, возможно, и принуждает нас к изоляции, зато она гарантирует нам любовь.

— Но не любовь мужа к жене, отца к ребенку.

— Наверное, нет…

— И даже любовь между побратимами ограничена. Вот вы сами признавались, что чувствуете влечение к своей названой сестре Халум, которое нельзя…

Этого я не мог позволить ему.

— Говорите о чем-нибудь другом, землянин! — обрезал я его. Щеки мои покраснели, меня бросило в жар.

Швейц поклонился и сдержанно улыбнулся:

— Извините, ваша милость. Разговор зашел слишком далеко, я потерял контроль над собой, но, поверьте, вовсе не хотел сделать вам больно.

— Очень хорошо.

— Тема стала слишком личной.

— Знаю, что вы не хотели зла, — кивнул я, чувствуя себя виноватым за эту вспышку. Он уколол меня в самое уязвимое место, и то, что я так отреагировал, подтверждало его правоту. Я налил еще

вина. Некоторое время мы молча пили. Затем Швейц заговорил:

— Можно пригласить вас, ваша милость, принять участие в одном опыте, который может оказаться очень интересным и ценным для вас?

— Продолжайте, — нахмурился я, чувствуя себя неловко.

— Вам известно, — начал землянин, — что давно чувствую неудобства от своего одиночества во всей Вселенной и безуспешно пытаюсь найти свое место в ней? Для вас средством познать самого себя служит вера, но ваш собеседник не смог приобщиться к такой вере из-за его несчастливого пристрастия к полнейшему рационализму. Не удается достичь этого высшего ощущения сопричастности с помощью только слов, молитвы, обряда. Для вас это возможно, и приходится завидовать вам. Создается ощущение, что меня (о, извините) загнали в западню, изолировали, закупорили в черепе, обрекли на духовное одиночество — человек отдельно от всех, человек сам по себе. И такое состояние безбожия трудно назвать приносящим радость. Вы на Борсене можете вытерпеть такую изоляцию, на которую сами себя обрекли, поскольку находите утешение в своей религии. У вас есть исповедники и какое-

то мистическое слияние с богами, которое вам дает ваша исповедь. Но у того, кто сейчас говорит с вами, нет подобной отдушины.

— Мы все это обсуждали много раз, — удивился я. — Но вы говорили сейчас о каком-то эксперименте?

— Будьте терпеливы, ваша милость. Нужно все объяснить подробно, шаг за шагом.

Швейц одарил меня одной из своих самых обаятельных улыбок. Он начал энергично размахивать руками, как бы производя какие-то мистические заклинания.

— Возможно, вашей милости известно, что существуют определенные вещества — лекарства, да, назовем их лекарствами, которые позволяют открыть для себя бесконечность или, по крайней мере, дают иллюзию такого откровения…

В общем, есть такое лекарство, с помощью которого на короткое время можно заглянуть в таинственные сферы неосязаемого, непостижимого. Так? Они известны в течение тысячи лет человеческой истории. Их применяли еще при отправлении древних религиозных обрядов. Некоторые люди пытались заменить ими религию, использовали их как мирские средства для отыскания веры, дверей в бесконечное, особенно в тех

случаях, когда для этого не было других путей.

— Но такие средства запрещены на материке Велада!

— Конечно, конечно! Для вас они служат средством обойти ритуалы официальной религии. Зачем тратить время на исповедника, если можно распахнуть душу с помощью таблетки? Ваш Закон мудр с этой точки зрения.

Ваш Завет не выжил бы, если бы можно было употреблять такие лекарства здесь.

— Это только ваше предположение, Швейц.

— Сначала нужно сказать, что доводилось употреблять самому такие лекарства, но они оказались недостаточно эффективными. Они, правда, открывают бесконечность, позволяют слиться с божеством. Но только на мгновение в лучшем случае на несколько часов. А затем, после этого, одиночество возвращается. Это иллюзия того, что открылась душа, а не само откровение. А между тем, именно на этой планете производят средство, которое дает настоящее откровение.

— Что?

— На материке Шумара, — продолжал Швейц, — живут те, кто убежал от Закона. Вашему собеседнику говорили, что они дикари. Ходят нагишом и питаются семенами, кореньями и

рыбой. Покрывало цивилизации спало с них, и они вернулись к варварству. Это рассказал один путешественник, который не так давно посетил этот континент. Стало известно также, что на материке Шумара употребляют лекарство, приготовляемое из какого-то корня, которое способно открывать разум перед разумом, так что каждый может прочесть сокровенные мысли другого. Это — нечто совершенно противоположное вашему Завету, вы понимаете? Они познают друг друга, употребляя в пищу это лекарство.

— Доводилось слышать рассказы о диких нравах тех людей, — махнул я рукой.

Швейц наклонился ко мне и заглянул в глаза:

— Надо признаться, что это очень соблазнительно. Появляется надежда, что можно испытать столько желаемое общение душ. Оно может быть давно разыскиваемым мостом к бесконечности, к духовному преобразованию личности.

Так? В поисках откровения довелось испробовать много средств. Почему бы тогда не попробовать и это?

— Если оно существует!

— Оно существует, ваша милость. Этот путешественник, приехавший с Шумары, привез это снадобье с собой в Маннеран и продал немного

любопытному землянину.

Швейц вытащил из кармана небольшой лощенный конверт и протянул его мне. Там был какой-то белый порошок, похожий на обыкновенный сахар.

Я посмотрел на Швейца и засмеялся:

— Ваше предложение? — на этого землянина было смешно смотреть. — И это ваш эксперимент?

— Давайте вместе попробуем это лекарство с Шумары, — осторожно выговаривая каждое слово, предложил Швейц.

31

Я мог бы вытряхнуть порошок из конверта и приказать арестовать этого дерзкого пришельца. Я мог бы приказать ему убраться прочь с моих глаз и больше никогда не показываться. Я мог бы, по крайней мере, воскликнуть, что это совершенно невозможно, что я даже не прикоснусь к такому веществу.

Но ничего этого я не сделал. Я предпочел остаться спокойным и продолжать с землянином его словесную игру. И тем самым позволил ему затянуть меня в трясину еще глубже.

— Вы думаете, — сказал я, — что сгораю от нетерпения нарушить Завет?

— Кажется, вы человек сильной воли и пытливого ума, который не упустит возможность познания.

— Познания чего?

— Все настоящие истины поначалу незаконны там, где они возникли, даже Завет. Разве ваших предков не изгоняли с других планет за то, что они исповедовали свою религию?

— Такие аналогии весьма сомнительны. Мы

сейчас говорим не о религии, а об опасном наркотике. Вы просите другого отказаться от того, что он почитал всю свою жизнь. Вы хотите, чтобы он открылся перед вами, как никогда не открывался ни перед своими побратимами, ни даже перед исповедником.

— Да!

— И вы воображаете, что он пожелает это сделать?

— Такое может случиться. Может быть, это преобразит вас и сделает чище, — кивнул Швейц.

— Однако после этого можно проснуться напуганным и обманутым!

— Это вряд ли. Знание не может повредить душе. Это только чистки покрывают душу ржавчиной и искушают ее.

— Как вы красноречивы, Швейц! И все же глядите! Разве можно выдать свои секреты незнакомцу, чужеземцу, какому-то инопланетянину?

— А почему бы нет? Лучше какому-то незнакомцу, чем другу. Лучше землянину, чем своему соплеменнику. Вам нечего бояться — землянин никогда не будет пытаться судить вас по меркам Борсена. Вы не встретите ни осуждения, ни неодобрения того, что может оказаться в вашей душе. А землянин покинет эту планету

через некоторое время, отправится в новое путешествие за сотни световых лет и какое тогда будет иметь значение, что когда-то ваши умы слились?

— Почему вам так не терпится? Что вы добиваетесь?

— Восемь месяцев, — сказал он, — это лекарство лежало в кармане, пока велись поиски того, с кем можно было бы разделить его. Уже начинало казаться, что эти поиски окажутся тщетными. Однако произошла встреча с вами и, обнаружив ваши способности, вашу силу, скрываемое вами бунтарство…

— Нет никакого бунтарства, Швейц, — почти выкрикнул я. А потом потише добавил: — Наоборот, полное подчинение морали своего мира!

— Можно затронуть одну щекотливую тему, ваша милость? Не кажется ли вам, что ваше отношение к названой сестре говорит о фундаментальном несогласии с ограничениями, которые накладывает ваша мораль?

— Возможно. Но, может быть, и нет.

— Вы же сами поймете это, воспользовавшись лекарством с Шумары. Вам это даст большую уверенность.

— Как вы можете так говорить, если сами еще

не пробовали это средство?

— Мне говорили о его действии.

— Это невозможно, — покачал я головой.

— Один только опыт, — взмолился Швейц. — Понимаете, один. Секретное соглашение. Никто об этом не узнает.

— Невозможно!

— Значит, вы боитесь открыть свою душу?

— На этой планете всегда учили, что это святотатство!

— Учение может быть неправильным, — покачал головой Швейц. — Неужели у вас никогда не было искушения? Разве вы никогда не испытывали такого экстаза, исповедуясь, что вам не хотелось повторить эти ощущения с кем-нибудь, кого вы любите, ваша милость?

Он опять попал в уязвимое место.

— Иногда такие ощущения возникали, — вынужден был согласиться я. — Сидишь возле какого-нибудь уродливого исповедника и воображаешь, что это Ноим или Халум, и что исповедь обоюдна. Невольно хочется взаимности…

— Значит, вы уже давно жаждете такого лекарства и даже не осознаете этого!

— Нет! Нет!

— Вероятно, — предположил Швейц, — вам

неприятна мысль открыться перед незнакомцем, а не сама идея откровения. Возможно, с кем-нибудь другим вы бы испробовали это средство? А? Со своим побратимом? Или, может быть, с названой сестрой?

Я задумался. Сидеть вместе с Ноимом, который был для меня вторым "я", и добираться в его разуме до глубин, прежде мене не доступных, а ему в это время открываются чувства, глубоко упрятанные в моем подсознании. Или же с Халум… или с Халум…

— Швейц, вы — искуситель!

— Такая идея вам по больше душе, — усмехнулся землянин. Что ж.

Придется самому отказаться от возможности, предоставляемой этим средством.

Вот оно. Возьмите его, попробуйте, разделите с тем, кто отвечает вам любовью на любовь!

Эта высокопарная речь испугала меня. Я выронил конверт, как будто он внезапно обжег меня.

— Но ведь это, — пробормотал я, — лишит вас столь долгожданного осуществления желаний.

— Неважно. Можно достать еще. Возможно, найдется другой партнер, который захочет поучаствовать в эксперименте. Вы же тем временем испытаете высшее блаженство, ваша милость.

Даже землянин может быть неэгоистичным.

Возьмите его, ваша милость…

Я мрачно посмотрел на этого человека:

— А может быть, Швейц, разговоры о том, что вы отдаете лекарство, всего лишь искусная игра? Может быть, вы просто ищете кого-нибудь, кто согласился бы стать подопытным кроликом, чтобы вы уверились в безопасности этого лекарства, прежде чем сами его попробуете?

— Вы заблуждаетесь, ваша милость.

— А может быть, нет. Возможно, вы этого и добиваетесь.

Мне представилось, как даю это зелье Ноиму, как он падает без чувств, а я готовлюсь поднести к губам свою дозу. Я наклонился, поднял конверт и протянул его Швейцу.

— Нет. Предложение отклонено. Ваша щедрость очень ценится, но со своими побратимами нельзя проводить опыты, Швейц.

Он густо покраснел:

— Я вас не понимаю, ваша милость. Предложение отказаться от собственной дозы лекарства было сделано из лучших побуждений и ничуть не связано с какими-либо тайными намерениями. Но поскольку вы отвергаете его, давайте вернемся к первому предложению. Вдвоем про-

буем лекарство, тайно, в качестве эксперимента, чтобы узнать, какова сила этого порошка и какие врата он может открыть. Этим многого можно добиться, уж это точно.

— Видно, что вы хотели бы получить, — сказал я. — Но зачем принимать его…

— Вам? — усмехнулся землянин и тут же добил меня! — Ваша милость, проверив это лекарство, вы сможете определить правильную дозировку и перестанете бояться обнажать свои мысли. Затем, достав еще порошка, вы, опираясь на свой опыт, используете его с той целью, от которой отказались сейчас. Вы сможете разделить его с единственным человеком, которого по-настоящему любите, откроете себя перед своей Халум и она откроется перед вами.

32

Существует легенда, которую рассказывают детям, пока они учат Завет, о тех днях, когда боги еще странствовали по свету в людском обличье, а люди еще не прибыли на Борсен. Боги тогда еще не знали о своей божественной сущности, потому что рядом с ними не было смертных, и поэтому не осознавали своего могущества. Они вели простой образ жизни и обитали в Маннеране (именно поэтому Маннеран провозгласил себя священным городом), питаясь ягодами и кореньями. Они не носили одежду и только во время мягкой маннеранской зимы набрасывали на свои плечи свободные платки из звериных шкур. И не было в них ничего божественного.

Однажды двое из этих необычных богов решили отправиться в путешествие, чтобы посмотреть на мир. Идея принадлежала богу с секретным именем Кинналл, тому, кто ныне покровительствует путешественникам (да, именно в его честь меня и назвали). Этот Кинналл пригласил богиню Тиргу присоединиться к нему. И богиня, которая теперь защищает влюбленных, отправилась

вместе с ним.

Они пошли вдоль южного побережья, пока не добрались до берегов залива Шумара. Затем они повернули на север и прошли через Проход Стройн как раз там, где заканчиваются Хашторы. Они вошли во Влажные Низины, которые им не понравились, а затем дошли до Вымерзших Низин, где чуть не погибли от холода. Поэтому они повернули назад, на юг, но на этот раз западнее, и вскоре увидели внутренние склоны гор Трайштор. Они решили, что не смогут пересечь этот могучий горный кряж, и двинулись вдоль его восточных склонов на юг, но никак не могли выбраться из Выжженных Низин. Испытывая великие трудности, они наконец наткнулись на Врата Трайша и, миновав их, попали в холодную туманную провинцию Трайш.

В первый же день пребывания там боги нашли ручей, бегущий со склона из отверстия с девятью сторонами. Скалы окружавшие его, сверкали так ярко, что слепили глаза. Их цвет постоянно менялся, становясь то красным, то зеленым, то фиолетовым, то ярко-желтым. Такая же вода текла из этого отверстия: ее цвет был таким же, как и цвет скалы в данное мгновение.

Ручей терялся в водах более крупной речуш-

ки, в которой пропадали все эти удивительные цвета.

И сказал тогда Кинналл:

— Мы долго бродили по Выжженным Низинам и изнываем от жажды.

Напьемся?

И сказала Тирга:

— Да, давай напьемся.

Она опустилась на колени перед расщелиной, сложила ладони, наполнила их сверкающей водой и поднесла ко рту. Кинналл также напился. Вода была такой сладкой, что они, припав к роднику, никак не могли от него оторваться.

И пока они пили, их души и тела наполнялись странными ощущениями.

Кинналл взглянул на Тиргу и понял, что он может прочесть самые сокровенные ее мысли. И она с удивлением обнаружила, что может читать в его душе. А души их были полны любовью друг к другу.

— Мы теперь другие, — промолвил Кинналл, хотя ему не нужны были слова, ибо Тирга читала его мысли. И она ответила:

— Нет, мы не стали другими. Просто мы поняли, какими бесценными дарами владеем.

И это было правдой. Потому что они обладали

множеством даров, но никогда не пользовались ими прежде. Они могли подыматься в воздух и летать, как птицы. Могли изменять форму своих тел. Могли бродить по Выжженным или Вымерзшим Низинам, не испытывая при этом неудобств. Могли жить без пищи. Никогда не стареть, оставаясь в том возрасте, в каком хотели. Разговаривать без слов. И все это они могли делать и до того, как пришли к роднику, просто не знали об этом. Напившись воды из сверкающего источника, они научились быть богами.

Но они еще не знали, что именно они и есть боги.

Через некоторое время они вспомнили об остальных жителях Маннерана и полетели к ним, чтобы рассказать об источнике. Путь назад занял у них всего лишь мгновение. Их друзья столпились вокруг них, слушая рассказ о чудесном источнике и глядя на то, что чему научились Киннал и Тирга. Когда они закончили, все решили отправиться к роднику. Выстроившись в длинную процессию, которую вели Кинналл и Тигра, они двинулись по известному уже пути.

И вот они пришли к источнику, один за другим напились из него и стали Богами. Затем разошлись в разные стороны. Одни вернулись

в Маннеран, другие отправились в Саллу, некоторые добрались даже до Шумара и дальних материков Умбис, Дабис и Тибис. Теперь скорость их перемещений не имела пределов, а им так хотелось повидать эти необычные места. Однако Кинналл и Тирга поселились рядом с источником в Восточном Трайше и углубились в изучение душ друг друга.

Прошло много лет, и звездолет с нашими предками приземлился в Трайше, неподалеку от западного берега. Люди наконец достигли Борсена. Они выстроили небольшой поселок и разошлись в поисках пищи. Один человек по имени Джант, который был среди поселенцев, забрался далеко в лес в поисках дичи, заблудился и стал бродить по чаще, пока не вышел к месту, где жили Кинналл и Тирга. Он никогда прежде не видел таких, как они, и они никогда прежде не видели таких, как он.

— Кто вы? — спросил землянин.

— Раньше мы были совершенно обыкновенными, — ответил Кинналл. — Но теперь нам очень хорошо, потому что мы не стареем, умеем летать быстрее любой птицы, наши души открыты друг перед другом и мы можем принимать любые формы, какие только пожелаем.

— Значит, вы боги! — воскликнул Джант.

— Боги? Кто это такие, боги?

И Джант начал объяснять. Он рассказал, что сам он — обыкновенный человек, у которого нет таких способностей как у них. Людям при разговоре приходится употреблять слова. Они не умеют летать или менять форму своего тела. Они стареют с каждым оборотом планеты вокруг солнца. И умирают.

Кинналл и Тирга внимательно слушали, сравнивая себя с Джантом, а когда он закончил, поняли, что это правда: он — человек, они — боги.

— Когда-то мы были подобны людям, — призналась Тирга. — Мы ощущали голод, старели, говорили только с помощью слов и были вынуждены переставлять ноги, чтобы двигаться. Мы не знали о своих способностях. Но затем все изменилось.

— Почему? — поинтересовался Джант.

— Потому что, — ответил Кинналл по своей наивности, — мы напились воды из этого сверкающего родника, и вода открыла нам глаза и помогла стать богами. Вот и все.

Тогда заволновалась душа Джанта, так как он сказал себе, что мог бы тоже напиться из родника и стать равным богам. Он бы не сказал никому,

где находится этот источник, а вернулся бы к поселенцам, и они почитали бы его как живого бога, поклонялись бы ему и боялись бы его. Но Джант не осмелился попросить Кинналла и Тиргу напиться из родника. Он боялся отказа. Поэтому он задумал план, как заставить их покинуть это место.

— Правда ли, — спросил он их, — что вы можете путешествовать так быстро, что вам легко за один-единственный день оказаться в любой части этой планеты?

Кинналл стал уверять, что это правда.

— Но в это трудно поверить, — засомневался землянин.

— Мы докажем это, человек, — сказала Тирга. Она коснулась руки Кинналла, и боги воспарили в небо. Они поднялись на высочайшую вершину Трайшторов и собрали там подснежники. Затем они посетили Выжженные Низины и взяли там горсть красной почвы. Во Влажных Низинах они собрали растения.

У залива Шумар они нацедили опьяняющий напиток из ствола редкого дерева.

На берегах Полярного Залива откололи кусок вечного льда. Затем перенеслись через полюс в морозный Тибис и отправились по дальним ма-

терикам, чтобы принести что-нибудь из каждой части планеты сомневающемуся Джанту.

Как только Кинналл и Тирга отправились в путь, Джант бросился к источнику. Здесь он на мгновение остановился в нерешительности, страшась того, что боги могут внезапно вернуться и покарать его за дерзость. Однако они не появились, и Джант опустил свое лицо в поток и стал жадно пить, думая, что теперь он будет равен богу. Он напился сверкающей влаги, покачнулся, в глазах у него помутилось и свалился на землю. «Разве это божественность», — удивился он. Он попытался взлететь, но не смог.

Попробовал изменить форму своего тела, но у него ничего не получилось.

Хотел стать моложе, но и это ему не удалось. Ведь он был рожден человеком.

Источник не мог превратить человека в бога, он только помогал богу осознать свое могущество.

Но родник все же наделил Джанта одним даром. Теперь Джант мог проникать в умы других людей, поселившихся в Трайше. Когда он лежал на земле, оцепенев от разочарования, он услышал тихое тиканье в своем мозгу.

Джант прислушался к этому необычному звуку и понял, что прослушивает мысли своих друзей.

Он сумел усилить звук, и услышал все четко — вот это мысли его жены, это — сестры, а это — мужа сестры. Джант заглянул в мозг каждого из этих людей и прочел самые сокровенные мысли. «Это и есть божественность», — сказал он сам себе.

И он стал проникать глубоко в сознание людей, узнавая все их секреты.

Постоянно наращивая диапазон своих способностей, он научился одновременно связываться со всеми разумами. И наконец, опьяненный своим могуществом, он передал мысленное послание всем людям: «Слушайте голос Джанта. Это Джант, Бог, которому вы должны теперь поклоняться!» Когда этот ужасный голос проник в умы живущих на Борсене, многие упали замертво от потрясения, другие потеряли рассудок, а остальные принялись в ужасе кричать: «Джант вторгся в наши умы! Джант вторгся в наши умы!» И волны страха и мук, которые излучались ими, были такими мощными, что Джант сам испытал страшные мучения. Он был парализован, а разум его продолжал реветь: «Слушайте голос Джанта. Это Джант, Бог, которому вы должны поклоняться!» И с каждым таким импульсом все больше гибло поселенцев, росло число обезумевших людей, и Джант, отвечая на эти умственные

расстройства, которые сам причинил, корчился и трясся в страшных мучениях, теряя всякую способность управлять могуществом своего разума.

Кинналл и Тирга находились в Дабисе, когда это случилось, и вытаскивали из болота трехглавого червя, чтобы показать его Джанту.

Разбушевавшиеся волны сознания землянина докатились и до Дабиса и, уловив их, Кинналл и Тирга все бросили и поспешили назад, в Трайш. Они увидели, что Джант близок к смерти, почти весь его мозг выжжен и что поселенцы в Трайше погибли или обезумели. Они сразу поняли, что произошло, и положили конец жизни Джанта. В Трайше наконец-то наступила долгожданная тишина. Затем они обошли жертв несостоявшегося бога, воскрешая мертвых и исцеляя безумных.

Они закупорили расщелину в скале и наложили на нее печать, которую нельзя было сломать, потому что поняли: людям нельзя пить из этого источника, а все боги уже и так получили свою долю этой чудесной влаги.

Люди Трайша пали перед ними на колени и в ужасе возопили: «Кто вы?» Кинналл и Тирга отвечали: «Мы — боги, а вы всего лишь люди».

После людям было запрещено искать способы непосредственного общения между разумами,

а в Завете было записано, что каждый должен держать свою душу запертой, потому что только боги могут сливаться душами, не уничтожая при этом друг друга. А мы ведь не боги.

33

Конечно, я нашел множество причин оттянуть пробу лекарства с Шумары.

Сначала верховный судья Калимоль отправился на охоту, и я сказал Швейцу, что теперь очень занят на работе и потому никак не могу участвовать в эксперименте. Калимоль вернулся, но заболела Халум. Моей отговоркой стало то, что я очень переживаю за названую сестру. Халум выздоровела, но Ноим пригласил меня и Лоимель провести отпуск в его имении в южной части Саллы.

Мы вернулись из Саллы, но между Глином и моей родиной вспыхнула война, создав огромные трудности для мореплавания и, следовательно, довольно много проблем для меня в Судебной Палате. Вот так и шли недели за неделями. Нетерпение Швейца росло. Намерен ли я принять это средство вообще? Я не мог ответить на этот вопрос. Я на самом деле не знал. Боялся.

Но всегда во мне пылало искушение, которому он меня подверг. Стать подобным богу и проникнуть в душу Халум…

Я вошел в Каменный Собор, подождал, пока меня сможет принять Джидд, и исповедовался.

Однако я ничего не сказал ни о Швейце, ни об его зелье, опасаясь открыть, что играл в столь опасные игры. Поэтому исповедь не помогла мне, и я покинул Собор в том же душевном смятении. Теперь я четко понимал, что должен согласиться со Швейцем и что его эксперимент — это испытание через которое мне суждено пройти, ибо нет способа избежать его. Он разгадал меня: под внешней личиной благочестия во мне скрывался предатель Завета. Я пошел к нему.

— Сегодня, — сказал я. — Сейчас.

34

Нам потребовалось уединение. У Судебной Палаты был загородный дом среди холмов в двух часах езды к северо-западу от Маннеран-сити, где развлекались приглашенные сановники и заключались торговые сделки. Я знал, что сейчас этот дом пустует, и оставил его за собой на три дня. В середине дня я прихватил Швейца и на машине Судебной Палаты быстро выехал за город.

В доме дежурили трое слуг: повар, горничная и садовник. Я предупредил их по телефону, что буду вести чрезвычайно деликатные переговоры, и поэтому они не должны допустить ни малейшего вмешательства. Затем я и Швейц, едва оказавшись в доме, заперлись во внутренних комнатах.

— Будет лучше, — сказал он, — не ужинать сегодня. Рекомендуют также, чтобы тело было абсолютно чистым.

В доме была отличная парная. Мы тщательно отмыли друг друга и, выйдя, облачились в свободные, удобные шелковые одеяния. В глазах Швейца появился блеск, выдавший высшую

степень волнения. Мне было страшно и как-то неловко, и я начал размышлять о том, какой ужасный вред нанесу себе в этот вечер. Я казался себе больным, ожидавшим хирургической операции, на счастливый исход которой надежды почти не было. Мною овладела тупая отрешенность — я принял решение, я здесь, мне не терпится броситься с головой в омут… и со мной все будет кончено!

— Последняя ваша возможность, — улыбнулся Швейц. — Вы еще можете отказаться.

— Нет!

— Вы сознаете, что все-таки есть определенный риск? У нас в равной степени нет опыта употребления этого средства. Может возникнуть определенная опасность.

— Понимаю, — кивнул я.

— Вы должны также понять, что идете на это добровольно, без принуждения.

— К чему все это, Швейц? Давайте свое зелье!

— Хочется удостовериться, что вы, ваша милость, полностью готовы к любым последствиям.

С сарказмом в голосе я ответил:

— Возможно, следовало бы заключить контракт между нами по установленной форме, снимающий с вас всякую ответственность, если

противная сторона подаст иск на ущерб, причиненный…

— Как пожелаете, ваша милость. Но, кажется, это ни к чему.

— Это всего лишь шутка, — сказал я, пытливо посмотрев на землянина. — Вы нервничаете, Швейц? У вас есть какие-то сомнения?

— Мы делаем серьезный шаг, — ответил он уклончиво.

— Ну так примемся за дело. Вытаскивайте свое лекарство, Швейц!

Давайте, давайте!

— Да, — кивнул он и посмотрел на меня долгим взглядом, затем по-детски хлопнул в ладоши и торжествующе засмеялся. Я понял, что он играл со мной. Теперь уже я умолял его ускорить эксперимент. О дьявол!

Он вытащил из портфеля пакет с белым порошком, велел мне достать вино, и я приказал принести из кухни два графина маннеранского золотистого. Он высыпал половину содержимого пакета в мой графин, половину в свой. Порошок растворился почти мгновенно, оставив на секунду туманный след, который тут же исчез. Мы сжали в своих ладонях наполненные рюмки. Я переглянулся с сидящим напротив меня Швей-

цем и слегка улыбнулся.

— Нужно выпить сразу все, до дна, — пояснил землянин и выпил свое вино. Вслед за ним и я проглотил свое и откинулся назад, ожидая мгновенной реакции. Я ощутил легкое головокружение, но это просто вино так подействовало на мой пустой желудок.

— Когда же это начнется? — с нетерпением спросил я.

— Через некоторое время, — пожал плечами Швейц.

Мы стали молча ждать. Я пытался встретить его мысли, но ничего не ощущал. Однако звуки, раздававшиеся в комнате, стали гораздо громче скрип досок пола, гудение насекомых за окном, слабое жужжание ярких электрических ламп.

— Вы можете объяснить, — хрипло произнес я, — как действует это снадобье?

— Могу сказать только, что слышал сам от других, — ответил Швейц. — Существует скрытая способность соединять один ум с другим. Во всех из нас с самого начала она есть. Однако в крови у нас вырабатываются какие-то химические вещества, которые эту способность блокируют. Очень немногие рождаются без этого блока. Именно они обладают даром чтения мыслей.

Однако большинству из нас навеки отказано в этом бессловесном общении, кроме тех случаев, когда по какой-то причине прекращает вырабатываться гормон и наши умы на некоторое время приоткрываются. Когда это происходит, человека ошибочно считают безумным. Так вот, это лекарство из Шумары, говорят, нейтрализует природный ингибитор в нашей крови, по крайней мере, кратковременно. Поэтому, у нас появляется возможность вступить в контакт друг с другом.

На это я ответил:

— Мы, значит, могли бы быть сверхлюдьми, но искалечены своими собственными железами, которые создают какую-то блокаду? Так? Или, может быть, нет?

Швейц рассмеялся. Лицо его стало очень красным. Я спросил, верит ли он на самом деле в эту гипотезу о противодействующем гормоне и снимающем запрет средстве, и он сказал, что у него нет достаточных данных, чтобы вынести более точное суждение.

— Вы что-нибудь уже ощущаете? — спросил я.

— Только вино, — хихикнул он.

Мы ждали.

Мы ждали…

«Может быть, ничего и не произойдет», — подумал я, мне стало легче.

Мы ждали.

Наконец, Швейц сказал:

— Сейчас! Похоже, уже начинается!

35

Сначала я ощутил жизнедеятельность своего организма: стук сердца, пульсацию крови в артериях, движение жидкости где-то в глубине моего тела.

Я стал в высшей степени восприимчив к внешним раздражителям: к воздуху, обволакивающему щеки, к складке одежды, касающейся бедра, давлению пола на пятки ног. Затем начал пропадать контакт с окружающим, поскольку по мере того, как усиливалось мое восприятие, сужался круг ощущений. Вскоре я уже не мог определить форму комнаты, так как уже ничего не видел четко, кроме узкого туннеля, на другом конце которого находился Швейц. За пределами этого туннеля был только туман. Страх охватил меня, я изо всех сил старался прояснить свое сознание, как делают это люди, выпившие слишком много вина. Но чем сильнее я пытался вернуть себя в привычное состояние, тем быстрее нарастали происходящие со мной перемены. Я впал в какое-то яркое опьянение, мне казалось, что я пью из того же родника, из которого пил Джант. Послы-

шался какой-то пронзительный звук, который быстро нарастал, пока, казалось, не заполнил всю комнату. Однако этот странный звук не причинял мне боли. Стул подо мной начал вздрагивать и качаться, будто в такт с биением самой нашей планеты. Затем я понял, что все мои ощущения усилились вдвое. Теперь я чувствовал еще одно сердцебиение, еще один ток крови по венам, еще одно урчание желудка. Но это не было простым удвоением, так как все эти ритмы были другими, переплетающимися с ритмами моего тела. Взглянув на Швейца, я понял чьи жизненные ритмы начал постигать. Мы замкнулись друг на друге. Теперь я уже с трудом различал, когда бьется мое сердце, а когда его, и иногда, подняв глаза на землянина, видел свое собственное раскрасневшееся, искаженное лицо. Я чувствовал, как растворяется реальность, как падают стены и подпорки. Я уже не ощущал себя Кинналлом Даривалем как личностью. Во мне уже звучали не «он», "я", а «мы»! Я потерял не только свою индивидуальность, и само понятие о ней.

Я довольно долго оставался на этом уровне и даже подумал было, что действие наркотика начинает ослабевать. Я уже отличал разум и тело Швейца от своего разума и тела. Но вместо облег-

чения от того, что худшее уже позади, я ощутил разочарование: ведь я так и не испытал слияния разумов, которое обещал Швейц.

Однако я ошибся.

Да, первая дикая волна действия лекарства закончилась, однако только теперь началось настоящее общение между нами. Швейц и я пребывали врозь, но тем не менее вместе. Это было настоящим самообнажением. Я увидел все, как будто его душа была распростерта на столе и я мог исследовать ее столь тщательно, как мне того хотелось.

Вот нечеткое лицо матери Швейца. Вот воспоминание о Земле. Глазами Швейца я видел мать всех планет, изуродованную и загаженную, однако через весь этот ужас ясно проступала ее красота. Вот старый, запущенный город, где он родился. Вот дороги, которым десять тысяч лет, колонны древних храмов. Первая любовь. Разочарования и потери. Предательства. Радость.

Рост и изменения. Упадок и отчаяние. Путешествия. Ошибки. Признания.

Умножения. Я видел солнца сотен планет.

Я прошел сквозь все слои души Швейца, видя жадность и хитрость, злонамеренность и настойчивое стремление не упустить удобного случая.

Вот оно, саморазоблачение. Вот человек, который жил только ради самого себя.

И все же я не отпрянул от темных глубин его души.

Я видел гораздо большее: его тоску, страстное желание приобщиться к чему-то высшему, вроде… бога. Пусть этот человек — хитрый приспособленец. Может быть! Но он также и ранимый, честный, пылкий, несмотря на все его мелкие делишки. Я не мог сурово осуждать Швейца. Я был им. Потоки его "я" омывали нас обоих. Если бы я отбросил Швейца, я должен был бы отбросить и Кинналла Дариваля. Моя душа была полна теплого чувства к этому землянину.

Я ощутил, что и он проник в мой внутренний мир. Я не возводил никаких барьеров, когда почувствовал, что он находится в моей душе. И его глазами я видел то, что он видел во мне. Мой страх перед отцом. Ужас перед братом.

Любовь к Халум. Побег в Глин. Женитьбу на Лоимель. Мои мелкие ошибки и мои мелкие добродетели. Все-все. Швейц, смотри. Смотри. И все это возвращалось ко мне, отразившись в его душе. Однако смотреть на все это было совсем не мучительно. «Любовь к другим начинается с любви к себе», — неожиданно подумал я.

В это мгновение во мне пал и вдребезги разбился Завет!

Постепенно мы со Швейцем стали разъединяться, хотя еще и оставались в контакте какое-то время. Когда наконец он исчез, я ощутил какую-то дрожь, как будто лопнула натянутая струна. Нас окружала тишина. Глаза мои были закрыты. Я испытывал тошноту где-то глубоко внутри и сознавал, как никогда прежде, ту пропасть, которая отделяет нас друг от друга. Наконец после долгого молчания я взглянул на землянина.

Он смотрел на меня ярко горящими глазами, дико ухмыляясь. Только теперь я видел в этом не столько признаки безумия, сколько отражение внутренней радости. Он казался моложе. Лицо его все еще горело.

— Я люблю вас, — нежно произнес он.

Эти неожиданные слова были подобны удару молнии. Я сцепил пальцы и закрыл ладонями, как бы защищаясь.

— Что вас так сильно взволновало? — изумился Швейц. — Грамматика или значение моих слов?

— И то, и другое.

— Разве это такие ужасные слова, — «я люблю вас»?

— Никогда не приходилось… Никогда не слы-

шал… Никогда не знал, как…

— Как ответить на них? Чем? — Швейц засмеялся. — Я не вкладывал в свои слова какой-либо физиологический смысл. Это было бы слишком омерзительно. Нет. Я имел ввиду только то, что сказал, Кинналл. Я побывал в вашем мозгу и мне понравилось то, что я там увидел. Я люблю вас!

— Вы произносите слово "я"? — удивился я.

— А почему бы и нет? Неужели я должен сейчас отрекаться от самого себя? Не бойтесь, Кинналл, освободитесь от груза условностей. Я знаю, чего вы хотите. Вы думаете, что те слова, которые я только что произнес, оскорбительны? На моей планете, — Швейц махнул рукой куда-то вдаль, — в этих словах заключена какая-то святая странность. Здесь же они вызывают только отвращение. Ни в коем случае нельзя сказать «я люблю вас», не так ли? Целая планета отказывает себе в этом маленьком удовольствии! О, нет, Кинналл, нет.

— Пожалуйста, — неуверенно начал я, — все еще не выработалось полного приспособления к воздействию этого лекарства. Когда вы таким образом заговариваете…

Однако землянин не сдавался.

— Вы же были в моем разуме, — сказал он. —

Что же вы отыскали там?

Был ли я отвратителен вам? Откройтесь же наконец, Кинналл! У вас теперь от меня нет секретов! Прошу вас, скажите правду!

— Значит вы знаете, что вас нашли более достойным уважения, чем это ожидалось вначале?

Швейц хихикнул:

— И я могу сказать то же самое! Почему мы даже теперь боимся друг друга, Кинналл? Вы же слышали: «Я люблю вас!» Мы установили контакт. Мы обнаружили, что можем доверять друг другу. Теперь вы должны измениться, Кинналл. Причем вы должны больше, чем я, потому что вам нужно идти дальше.

Идите, идите. Говорите откровенно. Скажите эти слова.

— Никакой возможности!

— Скажите "я".

— Это очень трудно.

— Скажите. Не как ругательство. Произнесите это так, как если бы вы любили себя!

— Пожалуйста!

— Скажите их!

— Я... — выдавил я.

— Разве это ужасно? Еще, еще! Скажите о своих чувствах ко мне!

Правду, Кинналл! Правду из самых глубочайших глубин вашего естества!

— Чувство тепла, привязанности, доверия…

— Любви?

— Да, любви, — признался я.

— Тогда скажите!

— Любовь.

— Это не то, что я хочу услышать.

— А что же?

— Чего-нибудь, чего не говорили на этой планете уже две тысячи лет.

Теперь вы должны сказать это. Я…

— Я…

— Люблю вас.

— Люблю вас.

— Я люблю вас.

— Я… люблю… вас.

— Это только начало, — кивнул Швейц. Пот струился по его лицу (по моему тоже). — Мы начали, узнав, что мы можем любить. Мы начали с того, что заставили себя быть способными любить. Затем мы начнем любить. Да? Мы начнем любить.

36

Позже я сказал:

— Вы получили от этого лекарства то, что хотели, Швейц?

— Частично.

— Почему?

— Я искал бога, Кинналл, но я не совсем нашел, хотя и знаю теперь, где искать. То, что я на самом деле понял, это как больше не быть одиноким. Это первый шаг по дороге, которую я хочу пройти.

— Счастлив за вас, Швейц.

— Вы все еще говорите на своем искалеченном языке?

— Ничего не могу поделать, — покачал я головой. Я ужасно устал и снова начал побаиваться землянина. Любовь к нему, которая родилась недавно, не исчезла, однако в мою душу медленно возвращалась подозрительность. А может быть, он использовал меня? Может, он извлекал небольшое грязное удовольствие из наших взаимных откровений? Он вынудил меня стать «самооголителем». Его упорство, с которым он настаивал на эксперименте и на том, чтобы я

говорил "я" и «мне» — было ли это началом моего освобождения или просто желанием вывалять меня в грязи? Я был совсем новичком. Я не мог еще оставаться равнодушным, когда кто-либо говорит «я люблю вас».

— Попробуйте, — снова предложил Швейц. — Я.

— Остановитесь, пожалуйста.

— Разве это так болезненно?

— Это для меня ново и необычно. Мне нужно… Ну, понимаете… мне нужно более привыкнуть к этому. Постепенно.

— Что ж, время у вас есть. Не позволяйте мне подгонять вас. Но и не прекращайте двигаться вперед.

— Нужно попытаться. Я попытаюсь.

— Хорошо. — Затем помолчав немного, землянин добавил: — Вы попробуете лекарство еще раз?

— С вами.

— Не думаю, что это нужно. Вы могли бы попробовать это с кем-нибудь вроде вашей названой сестры. Если я предложу вам две порции, вы попробуете?

— Я не знаю.

— Вы боитесь?

Я покачал головой:

— Мне нелегко ответить. Нужно время. Время для того, чтобы сжиться с тем, что я сейчас испытал. Время, чтобы подумать, Швейц, прежде чем снова заняться этим.

— Вы попробовали. Теперь вы видите, что этот эксперимент принес вам только добро?

— Возможно, возможно.

— Без сомнений! — в землянине снова пробудился прежний пыл. Его рвение опять стало смущать меня.

Я осторожно сказал:

— Если можно будет достать этот порошок, я серьезно подумаю, не попытаться ли еще раз? Может быть, с Халум…

— Прекрасно!

— Но не сразу! Через некоторое время. Через два, а может быть, три или четыре месяца.

— Думаю, это случится гораздо позже, — покачал головой Швейц. — Сегодня вечером мы использовали все, что у меня было. Больше ничего нет.

— Но вы обещаете достать еще?

— Конечно, обязательно!

— Где?

— Что за вопрос? — рассмеялся Швейц. — Вы

разве не знаете где?

Конечно же, на материке Шумара.

37

Когда впервые испытываешь несказанное удовольствие, неудивительно, что после первого восторга приходит чувство вины и раскаяние. Так было и со мной. Утром второго дня пребывания на вилле я пробудился после беспокойного сна, ощущая такой стыд, что смерть показалась бы мне счастьем. Что я наделал?!

Почему я позволил Швейцу вывалять себя в грязи? Самообнажение? Сидеть с ним весь вечер, произнося "я", «мне» и «мной», и поздравлять себя с новой свободой от условностей! Во мне зародилось недоверие. Мог ли я на самом деле подобным образом открыть себя? Да, должно быть, так как теперь помнил прошлое Швейца, к которому прежде не имел доступа. И мое, значит, в его памяти. Я твердил себе, что должен был сделать это. Я чувствовал, что утерял какую-то часть себя, отказавшись от своей обособленности. Вы понимаете, самообнажаться среди нас — это неприлично, и те, кто выставляет себя напоказ, получают только грязное удовольствие от этого, тайный экстаз. Я сам себе настойчиво

доказывал, что ничего такого не совершал, а просто пустился в духовные искания. Но даже тогда, когда я строил в уме подобные фразы, они звучали напыщенно и лицемерно, выглядели тонким прикрытием жалких побуждений. И мне было стыдно, стыдно перед собой, перед сыновьями, перед моим царственным отцом, перед славными предками, что я опустился до этого. Я думаю, что именно «я люблю вас» Швейца вызвало во мне такое сильное раскаяние, больше чем какое бы то ни было событие того вечера, потому что мое прежнее "я" расценивало эти слова как вдвойне непристойные, а новое, с трудом рождавшееся "я" доказывало, что землянин не имел ввиду ничего постыдного, ни этим своим "я", ни этим «люблю». Но я отвергал свои собственные доводы, и чувство вины все сильнее охватывало меня.

Кем я стал, обменявшись ласковыми словами с чужим человеком, родившимся на Земле? Как я мог отдать этому человеку свою душу? Каково мое положение теперь, когда я стал абсолютно уязвимым для него? На мгновение я даже подумал о том, чтобы убить этого землянина и таким образом восстановить обособленность своей личности. Я пошел туда, где он спал, но, увидя улыбку на его лице, понял, что не могу его ненавидеть.

Почти весь день я провел в одиночестве. Ушел в лес и купался в холодном пруду. Затем преклонил колени перед огненной елью и, убедив себя, что это исповедник, сознался во всем, сознался пугливо и шепотом. После этого я долго бродил в колючих зарослях и вернулся на виллу лишь к вечеру, весь исколотый и грязный. Швейц поинтересовался, здоров ли я. Я ответил, что со мной все в порядке.

В тот вечер землянин был еще более говорлив, чем обычно, из него буквально изливался сплошной поток напыщенных слов. Он подробно описывал грандиозный план экспедиции в Шумару, за целыми мешками наркотика, который мы только что опробовали. Содержимое этих мешков должно было хватить для преображения почти всех живущих в Маннеране. Я слушал этот бред, воздерживаясь от замечаний, так как все это стало мне безразличным, и этот проект казался не более странным, чем что-либо иное.

Я надеялся, что мои душевные муки утихнут, как только я вернусь в Маннеран-сити и погружусь в обычную работу Судебной Палаты. Но нет. Я приехал к себе домой и застал там и Халум, и Лоимель. Сестры обменялись одеждой и, увидев их, я едва не сбежал. Они улыбались мне

тепло, по-женски, чуть таинственно. Это был их собственный язык, который они выработали, общаясь друг с другом, за свою жизнь. В отчаянии я переводил взгляд со своей жены на названую сестру, с одной сестры на другую. Красота этих двух столь похожих женщин ранила меня, как два меча сразу. Эти улыбки! Эти проницательные глаза! Им не нужен был наркотик, чтобы знать обо мне все!

«Где ты был, Кинналл?» «На лесной вилле, забавлялся самообнажением с землянином».

«И ты показал ему свою душу?»

«Да. Но он показал мне свою».

«И что же вы делали потом?»

«Мы говорили о любви».

«Что?»

"Мы говорили «Я люблю вас!»

«Какой злой ребенок в тебе, Кинналл!» «Да! И теперь я не знаю, куда спрятаться от стыда!» Этот беззвучный диалог вихрем промчался в моей голове, когда я приближался к ним, стоящим у фонтана во дворе. Как положено, я обнял сначала Лоимель, потом свою названую сестру, но при этом старался не встречаться с ними взглядом. Столь острым было ощущение вины. То же самое было и в Судебной Палате. Все взгляды моих

подчиненных, казалось, обвиняли меня. «Вот, Кинналл Дариваль, который обнажил все наши тайны перед землянином Швейцем! Посмотрите на этого самообнажающегося из Саллы, затесавшегося среди нас! Почему он еще не задохнулся от собственного зловония?» Я замкнулся в себе, но работа не клеилась. Какой-то документ, относящийся к одной из сделок Швейца, попал ко мне на стол, и отвращение охватило меня. Мысль о том, что я еще когда-нибудь окажусь с ним лицом к лицу, ужаснула меня. Я запросто мог аннулировать его визу на проживание в Маннеране, пользуясь властью верховного судьи, но это было слишком дурной платой за его доверие ко мне. И все же я был готов сделать это, но устыдился и взял себя в руки.

На третий день после моего возвращения, когда даже мои дети стали догадываться, что со мной творится что-то неладное, я отправился в Каменный Собор искать утешения у своего исповедника Джидда.

Был душный знойный день. В воздухе стояла горячая влага. Даже солнечный свет был какого-то необычного цвета: почти белый, и древние черные камни собора отбрасывали ослепительные блики, как будто стены его были выложены

стеклянными призмами. Но внутренние залы были темными, тихими, холодными. Клетушка Джидда, устроенная возле огромного алтаря, была гордостью Собора. Он ждал меня, уже почти полностью облачившись. Я всегда ценил его рабочее время и потому заранее уведомил его о своем приходе. Договор был уже готов. Я быстро подписал его и вручил священнику гонорар. Этот Джидд был ничуть не привлекательнее других представителей его ремесла, но тогда мне даже доставляла наслаждение его уродливость: кривой шишковатый нос, узкие длинные губы, глубоко посаженные глазки и оттопыренные уши. Но зачем смеяться над этим? Я ведь надеялся, что он исцелит меня. А целители — святые люди. «Дай мне то, что больше всего мне нужно, Джидд, и я благословлю твое безобразное лицо».

— Под чье покровительство вы отдаете себя, исповедуясь? — спросил он.

— Бога прощения.

Он дотронулся до выключателя. Простые свечи не устраивали Джидда.

Янтарный свет прощения, исходящий из спрятанной где-то газовой горелки, наполнил комнату. Джидд поставил меня перед зеркалом и объяснил, как смотреть на свое отражение, в

свои собственные глаза. Но на меня смотрели глаза незнакомца. Капли пота текли по лицу и исчезали в бороде. «Я люблю тебя», — сказал я мысленно этому чужому лицу. Любовь к другим начинается с любви к себе. Громада Собора давила на меня. Я боялся, что своды потолка раздавят меня. Джидд произнес предваряющие слова. В них не было ничего от любви. Он приказал мне открыть свою душу перед ним.

Я запнулся. Язык отказался повиноваться мне. Я проглотил слюну и попытался откашляться. Затем нагнулся и прижался лбом к холодному полу.

Джидд дотронулся до моего плеча и пробормотал слова утешения. Мы во второй раз произнесли начальные слова ритуала. Теперь я уже более гладко прошел через предварительные действия, и когда он велел мне говорить, я заговорил, хотя это скорее напоминало чтение чужого текста.

— Несколько дней тому назад посетил тайное место с другим, и мы вместе приняли лекарство с Шумара, которое распечатывает душу. Мы предались самообнажению, но теперь ощущается раскаяние за содеянный грех и нужда в прощении его.

Джидд задохнулся от изумления, а удивить

исповедника — это надо постараться. Видя его изумление, я замолчал, но Джидд быстро взял себя в руки, начал вкрадчиво уговаривать меня продолжать, и через несколько секунд мне удалось разжать челюсти и выплеснуть все, что было на душе. Я рассказал о моих ранних беседах со Швейцем о наркотике (не называя его имени; хоть я доверял Джидду и знал, что он не нарушит тайну исповеди, я чувствовал, что не получу большего душевного успокоения, если открою кому-нибудь имя своего сотоварища по греху). О том, как я принял наркотик на вилле. О моих ощущениях, им вызванных. Об исследовании духовного мира Швейца, произведенных мной. О его проникновениях в мою душу. О возникшей глубокой привязанности друг к другу, когда произошло наши души слились. О моем отречении от Завета под действием лекарства. О неожиданной убежденности, что наше самоотрицание — катастрофическая ошибка нашей культуры. Об интуитивном понимании того, что мы должны отказаться от нашей разобщенности и наводить мосты над пропастью, отделяющей каждую личность от остального человечества. Я также сознался в том, что барахтался в наркотике ради того, чтобы потом проникнуть в душу Халум.

Для исповедника мое вожделение к названой сестре уже не было неожиданностью. И я продолжал рассказывать о душевном расстройстве, которое испытал после того, как прекратилось воздействие наркотика: о чувстве вины, стыда, сомнениях.

После этого я умолк.

Теперь я почувствовал себя очищенным и страстно желал вернуться к установлениям Завета. Я хотел очиститься от скверны самообнажения, жаждал церковного наказания и возвращения к праведной жизни. Я горячо желал исцелиться, вымаливал прощение, жаждал приобщиться к заповедям наших предков. Но боги не сходили ко мне. Глядя в зеркало, я видел только свое лицо, искаженное и желтое, давно нечесаную бороду.

Когда Джидд начал бубнить формулы прощения, для меня они прозвучали пустыми фразами, не затронувшими душу. Я оказался отрезанными от веры.

Ирония случившегося смутила и рассердила меня. Швейц, завидуя моей вере, хотел с помощью наркотика понять тайну поклонения сверхъестественному, однако только лишил меня доступа к моим богам. И сейчас, слушая пустые слова Джид-

да, я даже подумал, что мог бы разделить с ним лекарство, чтобы общение между мной и этим исповедником по-настоящему стало действенным. Но я знал, что этого никогда не будет. Я был теперь навсегда потерян для всех на Борсене.

— Да будет благословение богов на покаявшихся.

— Да будет…

— И не ищите более ложной помощи, держите свое "я" в себе, ибо остальные пути ведут к стыду и разврату.

— Да, другие пути больше не надо искать…

— Помните, что у вас есть названые брат и сестра. У вас есть духовник. К вам милостивы боги. И больше вам ничего не нужно, ваша милость.

— Да… больше ничего не нужно…

— Тогда ступайте с миром.

Я ушел, но совсем не с миром, как он полагал. Исповедь оказалась бесполезной. Джидд не примирил меня с Заветом, — он просто показал степень моего отчуждения от него. И хотя этот поступок совершенно не тронул меня, однако, выходя из Собора, я ощутил себя очищенным от вины. Я больше уже не раскаивался в совершенном. Возможно, это и было единственным результатом исповеди, совершенно противо-

положным тому, на который я надеялся, идя к Джидду.

Но я больше не хотел думать об этом. Я был доволен тем, что остался самим собой. Мое превращение в эти минуты было полным. Швейц отнял у меня мою веру, но вместо нее дал мне нечто другое.

38

В этот день мне нужно было разобраться с грузом одного судна из Трайша, и я пошел на пристань, чтобы лично проверить все на месте. Здесь я случайно встретился со Швейцем. После того как несколько дней назад мы расстались, я с ужасом думал о возможной встрече с ним. Для меня, как я полагал, было бы невыносимо взглянуть в глаза этого человека, который проник своим взглядом в глубины моей души. Только держась вдали от него, я мог бы в конце концов убедить себя, что, по сути, ничего с ним не делал.

Но вот я увидел его неподалеку. Он сжимал в одной руке целую кипу накладных, а другой яростно тряс в сторону какого-то купца с водянистыми глазами в одежде жителя Глина. К своему удивлению, я не почувствовал никакого смущения. Во мне всколыхнулись радость и удовольствие при виде этого человека. Я подошел к нему. Он хлопнул меня по плечу, я хлопнул его.

— Вы теперь выглядите более веселым, ваша милость, — усмехнулся землянин.

— Вы правы.

— Дайте мне разделаться с этим негодяем, и мы с вами разопьем бутыль золотистого, не возражаете?

— Нисколько.

Через час, когда мы уже сидели в припортовой таверне, я сказал:

— Скоро ли вы отправитесь на материк Шумара?

— А почему бы нам не отправиться туда вместе? — предложил Швейц.

39

Путешествие к южному материку проходило как во сне. Ни разу я не спрашивал себя, умно ли я поступил, согласившись на это. Ни разу не возникал вопрос о том, почему мне было столь необходимо лично отправиться в путь. Ни разу я не подумал, что Швейц один может привезти снадобье или послать за ним кого-нибудь.

Между Веладой и Шумарой нет регулярного морского сообщения. Тем, кто хочет туда попасть, нужно фрахтовать корабль. Это я и сделал, используя возможности Судебной Палаты, через посредников и подставных лиц. Корабль, который я выбрал, был не из Маннерана, поскольку мне не хотелось, чтобы меня узнали при отплытии, а из западной провинции Велик.

Этот корабль был задержан в Маннеране во время одной судебной тяжбы.

Капитан и команда томились от вынужденного безделья и уже подали протест Верховному Судье. Я дал разрешение этому кораблю на рейсы «между рекой Войн и восточным берегом залива Шумар». Это делалось для того, чтобы

судно могло совершать каботажное плавание вдоль побережья Маннерана, находясь при этом под контролем властей. Однако я добавил к тексту обычного разрешения абзац, дававший возможность капитану фрахтоваться для поездок к северному побережью материка Шумара. Несомненно, этот абзац озадачил ничего не понимающего капитана, но еще больше он был поражен, когда через несколько дней с ним встретились мои агенты и предложили совершить плавание именно в эти места.

Я ничего не сказал о том, куда я отправляюсь, ни Лоимель, ни Халум, ни Ноиму, ни кому-либо еще. Я объяснил им, что дела Судебной Палаты требуют, чтобы я на короткий срок уехал за границу. В Судебной Палате я сказал еще меньше. Обратившись за разрешением на отлучку, я получил его. В самую последнюю минуту я уведомил верховного судью, чтобы в ближайшее время меня не искали.

Чтобы избежать осложнений с таможенниками, я выбрал в качестве отправного пункта город Хилминор, порт на юго-западе Маннерана на берегу залива Шумар. Этот небольшой город жил в основном рыбной торговлей, а также служил для стоянок на полпути между Маннераном и

западными провинциями. Я договорился с капитаном корабля, что мы встретимся на борту в Хилминоре. Мы со Швейцем должны были добраться туда по суше.

Поездка заняла два дня. Шоссе пролегало по местам с очень буйной растительностью, по тропическим лесам. Швейц был в приподнятом настроении.

Такое же настроение было и у меня. Мы разговаривали друг с другом, постоянно употребляя местоимения в первом лице. Ему это, разумеется, было привычным, но я чувствовал себя шкодливым ребенком, трусливо шепчущим в ухо своему товарищу по играм запретные слова. Оба мы подсчитывали, какое количество шумарского зелья мы сможем достать и что мы с ним будем делать.

Теперь уже речь шла не о том, какую часть снадобья я использую вместе с Халум. Мы уже обсуждали, как с помощью этого наркотика обратим в свою веру всех и освободим моих соплеменников, душащих самих себя. Такой евангелический подход постепенно стал основным во всех наших планах.

В Хилминор мы приехали в такой жаркий день, что, казалось, небо вот-вот расколется от зноя.

Перед нами лежал позолоченный палящими лучами солнца залив Шумар.

Хилминор окружен грядой невысоких холмов, и когда мы петляли среди них, я велел остановиться, чтобы показать Швейцу мясные деревья, которые покрывали склоны, противоположные морю. Продираясь через невысокий кустарник, мы наконец достигли группы таких деревьев. Они были почти вдвое выше человеческого роста, с перекрученными ветвями и толстой бледной корой, которая на ощупь казалась губчатой, словно плоть очень старых женщин. На деревьях было очень много надрезов, сделанных для того, чтобы выпускать из ствола сок, который можно было пить.

— Можно попробовать эту жидкость? — поинтересовался Швейц, никогда прежде не видевший таких деревьев.

У нас нечем было сделать надрез, но как раз в эту минуту к нам подошла девочка, местная жительница, лет десяти, не более, полуголая, загорелая до такой степени, что загар сливался с грязью. Она несла бурав и бутыль. Очевидно, родители послали ее за соком мясного дерева. Она сердито посмотрела на нас, но я вынул монету и сказал:

— Есть желание познакомить своего спутника со вкусом мясного дерева.

Все еще сердито глядя на нас, она с удивительной силой воткнула бурав в ближайшее дерево и стала его крутить. Затем вынула и подставила бутыль под струю чистой тягучей жидкости. Потом она угрюмо протянула полную бутылку землянину. Тот осторожно взял ее, понюхал, лизнул, и конце концов отважился сделать небольшой глоток. Через мгновение, он уже восторженно кричал:

— Почему это питье не продается на всей Веладе?

— Потому что эти деревья растут только здесь, — начал объяснять я. — Большинство этого питья потребляют на месте, а остальное продают в Трайш, где почти помешались на нем. И для всего остального материка почти ничего не остается. Его, конечно же, можно купить в Маннеран-сити, но нужно знать где искать.

— Вы знаете, что бы мне хотелось сделать, Кинналл? Завести плантацию из тысячи деревьев. Я хотел бы получить столько сока, чтоб его можно было продавать не только по всей Веладе, но еще и экспортировать. Я…

— Дьявол! — вскричала девочка и добавила

нечто непонятное на прибрежном диалекте. Она вырвала бутыль из рук землянина и, как дикарка, бросилась прочь, высоко задирая колени. Она несколько раз оглянулась, чтобы сделать то ли презрительный, то ли непристойный жест в нашу сторону.

Пораженный Швейц только покачал головой:

— Она что, безумная?

— Вы сказали «мне» и "я" три раза. Это с вашей стороны очень неосторожно.

— Говоря с вами я приобрел плохие привычки. Но неужели это ругательство?

— Это более непристойные слова, чем вы можете даже себе представить.

Эта девочка по всей вероятности, сейчас несется к своим братьям, чтобы рассказать о мерзком старике, который так непристойно вел себя среди холмов. Поэтому давайте поспешим, Швейц. Нужно добраться до города, прежде чем нас встретит разъяренная толпа.

— Мерзкий старик! — вскричал землянин. — Это я — то мерзкий старик?!

Засмеявшись, я втолкнул его в машину, и мы тронулись в путь.

40

Наше судно уже ждало нас, стоя на якоре, — небольшой низкобортный сухогруз с двумя винтами и вспомогательным парусом, с корпусом, окрашенным в голубой и золотистый цвета. Мы представились капитану — его звали Криш и он вежливо поприветствовал нас, называя теми именами, которыми мы себя назвали. К исходу дня мы вышли в море. В течение всего плавания ни капитан, ни кто-либо из членов команды не спрашивали о целях нашей экспедиции. Их, безусловно, распирало любопытство, зачем мы отправились на материк Шумара, но они были настолько благодарны за освобождение от бесцельного ареста в порту Маннерана, что ни за что не согласились бы обидеть своих нанимателей излишней назойливостью.

Вскоре из виду исчез берег Велады и впереди насколько хватало глаз простиралась бескрайняя гладь Шумарского пролива. Ни спереди, ни сзади не было видно никакой земли. Это пугало меня. Во время своей короткой карьеры моряка из Глина я никогда не бывал вдали от берега, и ко-

гда штормило, я всегда утешал себя призрачной возможностью добраться вплавь до берега, если только наше судно опрокинется. Здесь же казалось, что вся Вселенная состоит только из воды.

К вечеру опустились серо-голубые сумерки, небо сомкнулось с морем, и мне стало еще хуже. Теперь оставался только крошечный, качающийся и дрожащий корабль, столь ничтожный и уязвимый в этой безграничной бездне, в этом мерцающем антимире, где все слилось в единое ничто. Я и не предполагал, что пролив настолько широк. На карте, которую я видел в Судебной Палате, он выглядел ничуть не больше моего мизинца, и я думал, что обрывистые берега Шумара будут видны на протяжении всего нашего плавания. Однако сейчас мы, казалось, затерялись среди безбрежной пустоты.

Я проковылял к себе в каюту и уткнулся лицом в койку. Я так долго лежал, дрожа от страха и призывая на помощь бога путешественников, что стал сам себе противен. Я напомнил себе, что я сын септарха, брат септарха и двоюродный брат еще одного правителя, который правит в Глине, что я глава семьи и что на своем веку мне довелось убить немало птицерогов. Но все это мне нисколько не помогло. Какой прок утопаю-

щему от родословной? К чему широкие плечи, могучие мускулы и умение плавать, если некуда плыть? Я дрожал и готов был расплакаться. Я чувствовал, как растворялось в этой серо-голубой бездне мое "я". И тогда на мое плечо легко легла рука. Швейц!

— Корабль надежен, — успокаивающе прошептал он. — Это судно быстро пересечет пролив. Спокойно. Спокойно. Ничего страшного не случится.

Если бы кто-нибудь другой застал меня в столь плачевном состоянии, кроме, пожалуй, Ноима, я, наверное, убил бы его или себя, чтобы похоронить свою тайну.

— Если это всего лишь переход через пролив Шумар, то как люди могут путешествовать среди звезд, не обезумев при этом?

— Постепенно вырабатывается привычка.

— Но как преодолеть страх, страх перед... пустотой?

— Поднимитесь на палубу, — мягко произнес землянин, — и вы увидите, что не все так страшно. Ночь очень красива.

Он не лгал. Сумерки уже сменились настоящей ночью, и черная чаша неба была усеяна яркими бриллиантами. Вблизи городов звезды не видны

так хорошо из-за освещения и дымки. Я видел и раньше полное великолепия небо, охотясь в Выжженных Низинах, но тогда я не знал имен звезд и созвездий. Теперь же Швейц и капитан Криш стояли рядом со мной на палубе, рассказывая о них, соперничая друг с другом в знании астрономии, объясняя мне все, как будто я напуганный ребенок, которого можно удержать от слез только непрекращающимся потоком отвлекающих слов. Смотрите! Смотрите! Видите? Вон там! Я видел. Множество соседних солнц, четыре или пять ближайших к Борсену планет и даже одну забредшую комету. То, чему они меня научили, до сих пор со мной. Я уверен, что могу выйти из своей хижины здесь, в Выжженных Низинах, и хоть сейчас перечислить названия звезд, которые услышал в ту ночь на борту корабля от Швейца и капитана Вирша. Интересно, сколько еще будет у меня свободных ночей, когда я смогу смотреть на звезды?

Наступило утро, и страх прошел. Ярко светило солнце, по небу плыли легкие облака, воды пролива были спокойны, и меня уже не беспокоило, что земли все еще не видно. Корабль скользил по поверхности воды так плавно, что с трудом верилось, что мы движемся. Прошел день, затем

ночь, еще день и ночь, еще день и на горизонте наконец возник покрытый зеленью берег материка Шумара. Чем больше мы приближались к берегу, тем яснее были видны дикие джунгли. Ни одно из этих деревьев не росло на Веладе, здесь жили совершенно неведомые нам звери, змеи и насекомые.

Неизвестный мир, лежавший перед нами и ждавший своих первопроходцев, был чужим и, наверное, враждебным. Мне казалось, что я исследователь, попавший на неизведанную планету: гигантские валуны, стройные деревья с высокими кронами, похожие на змей переплетенные лианы. Эти мрачные джунгли были воротами к чему-то неизвестному и страшному, думал я, и все же я был не столько напуган, сколько глубоко тронут, взволнован зрелищем этих лоснящихся склонов и извилистых долин. Это был мир, который существовал еще до прихода сюда человека. Таким он был, когда еще не существовало ни церквей, ни исповедников, ни Судебной Палаты — только таинственные тропы и журчащие по дну долин ручьи, кристально чистые озера и длинные тяжелые ветви с огромными листьями, нависшие над водой, доисторические звери, не ведавшие страха перед охотником, копошащиеся

в болотах гады и заросшие высокими травами плато, сверкающие в скальных обнажениях жилы драгоценных металлов. Над этим девственным царством как бы простирались руки богов.

Одиноких богов, которые еще не знали о своей божественности. Или одинокого бога!

Разумеется, действительность была вовсе не романтичной. В месте, где горы полого опускались к морю, образуя на пересечении маленькую бухту, стоял убогий поселок — несколько бараков, в которых жило до полусотни шумарцев, обслуживающих случайно зашедшие сюда корабли с северного материка. Мне казалось, что все шумарцы обитают только где-то в глубине материка, что они остановились на стадии родового строя, ходят нагишом и разбивают свои стойбища где-то у подножья вулкана Вашнир, и что нам со Швейцем придется верхом на купленных лошадях пересекать всю эту необозримую таинственную землю без проводников, не зная дорог, прежде чем мы найдем что-либо хоть отдаленно похожие на цивилизацию и встретимся с кем-нибудь, кто мог бы продать нам то, ради чего мы сюда и прибыли. Однако капитан Криш искусно причалил свое маленькое судно к ветхому деревянному пирсу, и мы увидели небольшую группу

шумарцев, которые пришли, чтобы устроить нам довольно угрюмую встречу.

Вы помните, как я раньше представлял себе землян рогатыми. И здесь также я инстинктивно предчувствовал, что обитатели южного материка будут выглядеть весьма необычно. Я забыл, что это нелогично. Ведь, они, в общем-то, имели общее происхождение с обитателями Саллы, Маннерана и Глина. Но ведь столетия жизни в джунглях могли сильно изменить их? Разве их отречение от Завета не привело их к потере человеческого облика? Нет, и еще раз нет!

Они были похожи на обычных крестьян из захолустья любой нашей провинции. Конечно, на них были непривычные украшения, причудливые жемчужные ожерелья и браслеты, каких не носили в Веладе, но кроме этого ни оттенком кожи, ни чертами лица, ни цветом волос они ничуть не отличались от других людей.

Нас встречали человек восемь-девять.

Двое, очевидно, вожаки, говорили на маннеранском диалекте, хотя и с неприятным акцентом. Остальные, казалось, не понимали северных языков, и между собой общались с помощью щелканья и мычания. Швейц довольно быстро сумел найти с ними общий язык и затеял длинный

разговор, за которым мне оказалось настолько трудно следить, что я вскоре перестал вообще их слушать. Я побрел прочь, чтобы посмотреть на деревню, а когда вернулся, Швейц сообщил мне, что все улажено.

— Что все?

— Сегодня мы ночуем здесь. Завтра нас поведут в деревню, где приготовляют интересующий нас порошок. Эти люди не обещают, что нам удастся хоть что-нибудь купить.

— Почему?

— Не знаю. Но жители клянутся, что в этой деревне порошка нет и в помине.

— Сколько дней придется добираться до той деревне?

— Примерно пять. Пешком. Вам нравятся джунгли, Кинналл?

— Я еще не пробовал.

— Уверен, что скоро вы вдоволь насытитесь ими, — кивнул Швейц.

Он повернулся, чтобы о чем-то поговорить с капитаном Кришем, который после нашего плавания собирался отправиться по каким-то своим делам вдоль шумарского побережья. Швейц договорился, что судно вернется в эту бухту и будет ждать нашего возвращения из джунглей. Люди

Криша выгрузили наш багаж — главным образом товары для обмена, зеркала, ножи и безделушки, поскольку шумарцы не пользуются деньгами Велады — и ушли в пролив еще до того, как спустились сумерки.

Нас отвели в отдельную лачугу, приткнувшуюся к скале над бухтой.

Матрацы из листьев, одеяла из шкур животных, одно кривобокое окно, никакого туалета — вот все, к чему привели тысячи лет путешествия человека через бездны космоса.

Мы долго торговались относительно платы за наш ночлег, согласившись в конце концов отдать несколько ножей и зажигалок. На ужин нам подали удивительно вкусное тушеное мясо, какие-то неправильной формы красные фрукты, горшок с наполовину проваренными овощами, кружку молока. Мы съели все, что нам дали, получив гораздо большее удовольствие от еды, чем ожидали, хотя и перебрасывались язвительными шутками о болезнях, которые могли подхватить сейчас. Я сделал возлияние в честь бога путешественников, скорее по привычке, чем по убеждению. Швейц сказал:

— Значит, вы все еще, после всего что было, веруете?

Я ответил, что не нахожу причин не верить в богов, хотя моя вера в учение людей была сильно поколеблена.

Здесь, близко от экватора, темнота наступает быстро, будто разворачивается неожиданно какой-то черный занавес. Мы еще посидели немного, Швейц продолжал пичкать меня астрономическими знаниями. Затем мы легли спать. Менее чем через час в нашу хижину вошли двое. Я еще не спал и мгновенно сел, вообразив, что это воры или убийцы. Но пока я наощупь искал оружие, луч луны высветил профиль одного из вошедших, и я увидел крупные покачивающие груди. Швейц из дальнего темного угла сказал мне:

— Я думаю, это входит в стоимость ночлега.

Утром я всматривался в лица деревенских девушек, гадая, с кем из них я делил ложе. У них были щелки между зубами, отвислые груди, рыбьи глаза.

Мне оставалось только надеяться, что среди них не было моей ночной гостьи.

41

Пять дней. На самом деле даже шесть. То ли Швейц что-то недопонял, то ли вожак шумарцев был слаб в счете. С нами один проводник и трое носильщиков. Никогда прежде я не ходил так долго пешком, от зари до зари.

С обоих сторон узкой тропинки стояли зеленые стены джунглей. Влажность была поразительной, мы почти плыли в испарениях. Было хуже, чем в самый плохой день Маннерана. Вокруг была тьма насекомых с ярко блестящими глазами и страшными жалами. В зарослях шуршали какие-то многоногие твари.

Прямо из стволов деревьев торчали яркие цветы — как сказал Швейц, это были, очевидно, паразиты.

Мы вползли на гребень хребта, выйдя на полтора дня из джунглей, прошли весьма высоко расположенным перевалом, затем снова спустились в джунгли, но уже с другой стороны. Швейц спросил у проводника, нельзя ли было просто обойти горы и услышал в ответ, что окружающие низменные места кишмя кишат ядовитыми чер-

ными великанами-муравьями.

С этой стороны хребта тянулась цепочка озер и ручьев, поверхность которых была испещрена острыми скалами. Все это казалось мне каким-то нереальным. Ведь всего лишь в нескольких днях морского плавания к северу лежал материк Велада с его банками и автомобилями, таможнями и церквями.

Здесь же, казалось, не ступала нога человека. Дикость и неустроенность этого края угнетали меня, душная атмосфера, ночные звуки, нечленораздельная речь наших попутчиков усугубляли мое дурное настроение.

На шестой день мы вышли к деревне туземцев. Примерно три сотни хижин были разбросаны на широком лугу, где встречались две небольшие речки. У меня создалось впечатление, что здесь когда-то был поселок побольше, возможно, даже город, так как на границах поселения я видел поросшие травой курганы и пригорки, скрывавшие, вероятно, древние руины. Или это было просто иллюзией? Действительно ли мне нужно было убеждать себя, что шумарцы одичали, покинув наш материк, и видеть всюду свидетельства упадка и разложения?

Деревенские жители окружили нас, не выка-

зывая, правда, враждебности, очевидно просто из любопытства. Северяне были здесь явлением необычным.

Некоторые из туземцев подходили совсем близко и прикасались ко мне, сопровождая свои жесты быстрой легкой улыбкой. У этих жителей джунглей, казалось, не было угрюмой печали, как у обитателей лачуг на берегу бухты.

Эти люди были более мягкими и открытыми, в чем-то похожими на детей. Даже ничтожное влияние цивилизации Велады наложило мрачный отпечаток на характер прибрежных жителей. Совсем иначе было здесь, где встречи с северяне почти никогда не бывали.

Между Швейцем, нашим проводником и тремя деревенскими старшинами начались бесконечные переговоры. После первых приветствий Швейц практически перестал принимать в них участие, так как, изливая каскады слов, подкрепляемые оживленной жестикуляцией, наш проводник, казалось, без конца объяснял туземцам одно и то же. Ни Швейц, ни я не понимали ни слова.

Наконец проводник, похоже, взволнованно, повернулся к Швейцу и обрушил на него поток маннеранской речи с шумерским акцентом,

который Швейцу, поднаторевшему в общении с чужеземцами, удалось расшифровать:

— Они соблаговолят продать нам. Но только если мы сможем доказать им, что достойны обладать этим снадобьем.

— Как же мы это сделаем?

— Приняв его вместе с ними на ритуальной встрече сегодня вечером. Наш проводник пытался отговорить их, но они не уступили. Не будет общения — не будет обмена!

— Это рискованно?

Швейц покачал головой:

— Едва ли. Но проводник думает, что мы ищем снадобье только ради выгоды, что мы не собираемся сами употреблять его, а просто хотим продать то, что сможем достать, чтобы потом накупить еще больше ножей, зеркал и зажигалок. Поскольку он не считает нас потребителями порошка, он всеми силами пытается оградить нас от этого наркотика. Жители деревни тоже думают, что порошок нужен не лично нам, и поэтому говорят, что будут прокляты, если дадут хоть щепотку зелья кому-либо, кто намерен просто продавать его. Они продают снадобье только истинным его «приверженцам».

— Но мы же и есть истинные «привержен-

цы»! — воскликнул я.

— Но я не могу их убедить в этом! Они достаточно хорошо знают законы и обычаи северян. Но я все же попытаюсь еще раз.

Теперь стали переговариваться только Швейц и наш проводник, старейшины же молча стояли и ждали. Переняв жесты и даже акцент проводника (из-за чего я уже ничего не понимал в их разговоре), Швейц горячо настаивал на своем, а проводник упирался изо всех сил. Видя бесплодность всего этого, я ощутил такое отчаяние, что уже был готов предложить вернуться в Маннеран с пустыми руками. Затем все-таки Швейцу удалось сломать упорство проводника. Тот, все еще не веря Швейцу до конца, спросил у него, на самом ли деле тот хочет того, о чем говорит, и когда землянин выразительно подтвердил это, проводник, не меняя скептического выражения лица, снова повернулся к деревенским старостам. На этот раз разговор их был краток. Таким же коротким был и его разговор со Швейцем.

— Все улажено, — сказал через мгновение мне Швейц. — Мы примем порошок сегодня вечером вместе с туземцами, — он наклонился ко мне и дотронулся до моего локтя. — Кое-что, о чем вы должны помнить. Когда это зелье начнет действо-

вать — возлюбите их! Если этого не произойдет, все будет потеряно.

Я был оскорблен тем, что он предупреждает меня об этом.

42

Перед заходом солнца к нам пришли десять туземцев и повели нас в лес к востоку от деревни. Среди них были трое старейшин, двое неизвестных нам стариков, а также двое юношей и три женщины. Одна из них была красивой девушкой, другая — некрасивой, а третья — почти старухой. Проводник с нами не пошел. Я не знаю, то ли его не пригласили, то ли он просто не хотел участвовать в этой церемонии.

Мы прошли весьма приличное расстояние. Уже не было слышно ни детских криков из деревни, ни лая собак. Остановились мы на уединенной поляне, где в пять рядов, образуя пятиугольный амфитеатр, стояли скамейки из обструганных бревен. Посреди поляны располагался обмазанный глиной очаг, рядом с которым была сложена огромная груда хвороста. Как только мы прибыли, двое юношей начали разводить огонь. Поодаль я увидел еще одну выложенную глиной яму, ширина которой была вдвое больше ширины плеч крупного мужчины. Она уходила под землю под углом, похоже, на немалую глубину. Создавалось

впечатление, что это туннель, открывающий доступ к глубинам планеты. При свете костра я попытался заглянуть в эту яму с того места, где сидел, но не увидел ничего интересного.

Шумарцы жестами показали, где мы должны сесть — у основания пятиугольника. Некрасивая девушка села рядом с нами. Слева от нас, ближе ко входу в туннель, расположились трое старейших. Справа, у очага, сели старуха и один из стариков. Другой старик и красивая девушка ушли к дальнему левому углу. К тому времени, когда мы все расселись, ночь полностью вступила в свои права. Шумарцы разделись догола, и поняв, что они ждут от нас того же, мы последовали их примеру. По сигналу одного из старейшин красавица встала, подошла к костру, засунула в него длинный сук и подождала, пока он не загорелся, как факел. Затем, подойдя к туннелю, она высоко подняла факел и стала осторожно спускаться в него. Вскоре девушка с факелом совершенно исчезла из вида. Еще некоторое время огонь можно было разглядеть, но вскоре и он исчез. Из отверстия повалил густой темный дым. Затем девушка появилась, но уже без факела. В одной руке она несла красный горшок с толстым ободом, в другой — продолговатую бутыль из

зеленого стекла. Двое стариков — высших жрецов? — поднялись со своих скамеек и приняли эти предметы. Затем они начали причитать без всякой мелодии, а один из них, запустив руку в горшок, набрал пригоршню белого порошка — наркотика? — и высыпал его в бутыль. Другой старик стал торжественно трясти бутылку, очевидно, чтобы порошок быстрее растворился.

Тем временем старуха — жрица? — распростерлась у входа в туннель и стала распевать слова какого-то гимна, а двое юношей принялись добавлять хворост в огонь. Моление длилось довольно долго. Девушка, которая опускалась в туннель, — стройная, с высокой грудью, с длинными шелковистыми красно-коричневыми волосами — взяла бутыль у старика и перенесла ее на нашу сторону костра, где некрасивая девушка, выступив вперед, почтительно приняла сосуд двумя руками и торжественно понесла его к трем старейшинам.

Теперь уже и они стали бормотать что-то нараспев. То, что я считал ритуалом Представления Бутыли, продолжалось и продолжалось. Сначала я был очарован этим обрядом, восхищаясь необычностью церемонии, но вскоре мне стало скучно и я стал развлекать себя, пытаясь понять

религиозный смысл того, что происходило на моих глазах. Туннель, решил я, символизирует вход в чрево Матери-Земли, питающей корни, из которых получают порошок. Я придумывал тщательно разработанные метафорические объяснения, связанные с культом материнства, символическое значение опускания факела в чрево матери-земли, присутствие некрасивой и красивой девушек, очевидно, должно было символизировать универсальность женских качеств, двое юношей мужское начало и так далее. Все это, конечно, было чепухой, но — так я думал — выстраивалось в довольно стройную систему, созданную в воображении такого чиновника, как я, не обладающего особыми интеллектуальными способностями. Все удовольствия, которые доставляли мне мои размышления, внезапно испарились, когда я осознал, насколько я снисходительно отношусь к туземцам.

Я смотрел на шумарцев как на своеобразных дикарей, чьи гимны и ритуалы не имели не только эстетической ценности, но и не могли содержать в себе что-либо серьезного. Кто я такой, чтобы так высокомерно относиться к этим людям? Меня никто сюда не звал, я сам пришел вымаливать снадобье, которого так жаждала моя

душа. Так кто же из нас был выше? Я обвинил себя в снобизме. Возлюби. Отбрось извращенные логические построения. Прими участие в их ритуале, если способен, и, по крайней мере, не показывай внешне ни малейшего пренебрежения к ним, не презирай их. Нельзя презирать их. Возлюби! Теперь снадобье пили старейшины, возвращая бутыль некрасивой девушке, которая, когда все трое сделали по глотку, пошла по кругу, сначала поднеся бутыль старику, затем старухе, потом красивой девушке, затем двоим юношам и, наконец, Швейцу и мне. Она улыбнулась мне, протягивая бутылку. В прыгающих отблесках костра она вдруг показалась мне красивой. В бутылке было теплое тягучее вино. Я чуть не захлебнулся, когда сделал первый глоток, но все же выпил. Лекарство потекло мне в желудок и оттуда дальше… в мою душу.

43

Мы все стали единым существом, десять местных жителей и нас двое.

Сначала появилось необычное ощущение легкости, обострилось восприятие, пропало чувство опоры, возникли видения небесного света, послышались сверхъестественные звуки. Затем стало заметным биение других сердец и телесные ритмы, удвоение, умножение сознания. После этого растворились наши "я", существовавшие в отдельности, и мы стали единым организмом с двенадцатью личностями. Я погрузился в море душ и пропал как индивидуальность. Я уже не мог определить, кто я, был ли я Кинналлом, сыном септарха, или Швейцем, человеком со старой Земли, или старейшинами, а может быть, жрецами, или кем-либо еще, ибо все они были смешаны во мне самым невероятным образом, а я в них. И море душ было морем любви. А разве могло быть иначе? Мы были всеми и каждым из нас. Любовь к самим себе связывала нас друг с другом, каждого со всеми. Любовь к себе — это любовь к другим. Любовь к другим — это любовь

к себе. И я любил! Я лучше, чем когда-либо, понимал, почему Швейц сказал «я люблю вас», когда мы впервые очнулись от действия снадобья — эту странную фразу, столь непристойную на Борсене, столь нелепую в любом случае в разговоре мужчины с мужчиной.

Я говорил десяти шумарцам «я люблю вас», хотя и не произносил ни слова, ибо у меня не было слов, которые они могли понять. Но даже если бы я произнес это на своем родном языке и они поняли бы их, то они с негодованием отвергли бы их, эти грязные слова, так как среди моих соплеменников «я люблю вас» было непристойным выражением, и с этим ничего нельзя поделать. «Я люблю вас»! И именно это я и имел в виду, и они принимали мою любовь. Я был их частицей. Я, который совсем недавно снисходительно смотрел на них как на забавных первобытных людей, поклоняющихся лесному костру. Благодаря им я ощутил звуки леса и журчание ручья, милосердную любовь великой Матери-Земле, которая дышала под нашими ногами и которая вырастила для нас коренья, чтобы мы могли лечить ими свои разлученные друг с другом души. Я познал, что такое быть шумарцем и жить простой жизнью в месте слияния двух речушек. Я обна-

ружил, что можно обходиться без автомобилей и банков и все же принадлежать к сообществу цивилизованных людей. Я понял, какими людьми с недоразвитой душой сделали себя обитатели Велады во имя мнимой своей святости, и насколько полноценной может быть душа, если следовать образу жизни шумарцев.

Все это пришло ко мне не в словах и не в потоке образов, а скорее во внезапно обретенном понимании, которое снизошло на меня и стало частицей меня, причем, как это произошло, я не могу ни описать, ни объяснить. Я слышу, как вы сейчас говорите, что я, должно быть либо лгу, либо поленился более подробно описать все, что испытал. Но поймите, не все можно изложить словами, для многого слов нет.

Ведь мне тогда придется говорить обо всем приближенно, с недомолвками и из самых лучших побуждений можно будет исказить истину. Мне пришлось бы как-то обозначить мои ощущения словами, расположив их так, насколько позволяет мне мое искусство рассказчика, а вы затем должны будете превращать мои слова в какую-либо систему ощущений, привычную для вас.

Однако на каждой стадии такой передачи будет понижаться острота ощущений, и то, что вам

останется, станет всего лишь бледной тенью испытанного мною во время душевного очищения в Шумаре. Поэтому как я могу все это вам объяснить? Мы растворились друг в друге, растворились в море любви, мы, не знавшие языка друг друга, пришли к полному и всеобщему взаимопониманию наших обычно обособленных душ.

Когда действие снадобья прекратилось, частица меня осталась в них, а частица их — во мне. Если вы захотите заглянуть в свою душу, если вы захотите вкусить любви в первый раз за всю свою жизнь, то я могу сказать лишь одно: не ищите объяснений в красиво выстроенных словах, приложитесь губами к напитку с порошком. Приложитесь губами…

44

Мы выдержали испытание. Они дадут нам то, что мы хотели. После причастия любовью наступило время торговли. Мы вернулись в деревню, и утром наши носильщики вынесли наши сундуки с товарами для обмена, а старейшины принесли три толстых глиняных кувшина, в которых, очевидно, был необходимый нам порошок. И мы сложили большую кипу ножей, зеркал и зажигалок, а они тщательно отмерили порошок из двух кувшинов в третий.

Обменом распоряжался Швейц. От проводника, приведшего нас с побережья, было мало толку, ибо, хоть он и умел говорить на языке старейшин, он никогда не беседовал с их душами. По сути торги превратились в нечто противоположное, ибо когда Швейц со счастливой улыбкой добавил в придачу к нашей цене несколько безделушек, старейшины ответили ему тем, что отсыпали еще порошка в наш кувшин. Торги превратились в состязание щедрости и в конце концов мы отдали все, что было у нас, оставив только несколько предметов для подарков нашему проводнику и

носильщикам. Туземцы же отдали нам столько этого чудесного порошка, что его вполне могло хватить на тысячи мозгов.

Когда мы вернулись в бухту, капитан Криш уже ожидал нас.

— Видно, торговля была довольно успешной? — спросил он.

— Разве это столь очевидно? — удивился я.

— Вы были в смятении, когда прибыли сюда. Отсюда же вы уезжаете с улыбками на лице! Разве не очевидно, что торговля была удачной?

В первый же вечер нашего обратного плавания в Маннеран Швейц пригласил меня в свою каюту. Он вытащил кувшин с порошком и взломал печать. Я смотрел, как он осторожно пересыпает порошок в небольшие пакеты, примерно такие же, как первый, в котором находилась первая моя порция. Он работал молча, почти не глядя на меня и заполнил пакетов семьдесят-восемьдесят. Закончив расфасовку, он отсчитал дюжину пакетов и отодвинул их в сторону. Указывая на оставшиеся, он сказал:

— Это для вас. Спрячьте их хорошенько среди багажа, если не хотите прибегать к своему влиянию на таможенников, чтобы в сохранности привезти их.

— Вы дали мне в раз пять больше, чем взяли себе, — запротестовал я.

— Вам этот порошок нужен больше, чем мне, — усмехнулся землянин.

45

Я не понимал, что он имел в виду, пока мы снова не оказались в Маннеране. Мы высадились в Хилминоре, расстались с капитаном Кришем, прошли формальную проверку (как доверчивы были еще совсем недавно таможенники!) и на своем автомобиле отправились в столицу. Въехав в Маннеран-сити со стороны шумарского шоссе, мы проследовали мимо рынков и магазинов, расположенных прямо на открытом воздухе, где тысячи маннеранцев толкались, торговались друг с другом, спорили между собой. Я видел, как ревностно спорили покупатель и торговец, как тщательно они заключали сделки и потом заполняли бланки для договоров. Я видел их лица, сосредоточенные, настороженные, их тусклые, недобрые глаза. И я думал о средстве, которое было со мной и говорил себе: «Если б я только мог растопить лед их сердец!» Я представлял себе, как хожу среди них, этих чужеземцев, отвожу в сторону то одного, то другого, и ласково шепчу каждому: «Я — принц из Саллы и высокопоставленный чиновник Портового Суда,

который оставил все свои дела только для того, чтобы дать счастье людям. Я покажу вам, как испытать радость с помощью самообнажения. Верьте мне — я люблю вас!» Без сомнения, многие будут шарахаться от меня, как только поймут, о чем я им толкую, многие могут сразу же оттолкнуть меня, напуганные непристойным словом "я", другие же, выслушав, начнут плевать мне в лицо и назовут сумасшедшим, а некоторые даже позовут полицию. Но, вероятно, будут и такие, кто ощутит соблазн и пойдет со мной в какое-нибудь укромное место, где мы сможем разделить снадобье из Шумара. Я буду открывать одну душу за другой, пока в Маннеране таких, как я, не станет десять — двадцать — сто — целое тайное сообщество самообнажающихся, узнающих друг друга по теплу и любви, излучаемым их взглядами, не боящихся произнести слова "я" и «мне» перед другими посвященными, отказавшихся не только от тусклого синтаксиса, но и от дурмана самоотречения, выражающегося витиеватыми и нескладными фразами. А затем я еще раз зафрахтую корабль капитана Криша, возвращусь с пакетами белого порошка и продолжу свою деятельность в Маннеране. Я и те, кто последует за мной, мы снова и снова будем

подходить то к одному, то к другому и, улыбаясь, будем шептать: «Я покажу вам, как найти радость в откровении. Верьте мне — я люблю вас!» В этих видениях Швейцу не было места. Это чужая для него планета и не его дело — преобразовывать ее. Все, что интересовало его — это удовлетворение личных духовных запросов, жажда постичь божественное. Он уже идет по этому пути и сам завершит его, без чьей-либо помощи. Швейцу не нужно бродить по городу, соблазняя незнакомцев. Именно поэтому он и отдал мне большую часть купленного нами порошка, ибо я был новым пророком, мессией откровенности, и Швейц понял это значительно раньше, чем я. До сих пор ведущая роль принадлежала ему, я же был в его тени. Теперь он уже не будет затмевать меня. Вооруженный своими пакетиками, чудесными пакетиками, волшебными пакетиками, я один, один начну изменять нашу планету!

Это была как раз та роль, к которой я всегда стремился. Всю свою жизнь я находился в тени то одного, то другого человека, и поэтому, несмотря на все свои умственные способности и физическую силу я привык считать себя человеком второразрядным. Вероятно, это нормально для второго сына септарха. Сначала был мой отец,

с которым я даже не мечтал сравняться ни по власти, ни по могуществу. Затем появился Стиррон, чье восшествие на престол привело к моему добровольному изгнанию. Затем мой хозяин на лесоповале в Глине, затем Сегворд Хелалам, затем… Швейц. У всех этих людей была цель в жизни и они решительно шли к ней. Они знали свое место в жизни и держались за него, в то время как я частенько пребывал в смятении.

Теперь же, когда прошла добрая половина жизни, наконец и я могу проявить себя. У меня появилась цель! Божественное провидение привело меня сюда, сделало меня тем, кем я стал, подготовило мой дух для осуществления великой миссии. И я с радостью взялся за нее.

46

У меня была знакомая девушка, которой я покровительствовал. Она говорила, что является незаконнорожденной дочерью герцога Конгоройского, зачатой им во время одного из его официальных визитов в Маннеран еще в годы правления моего отца. Возможно, это было правдой. Она, во всяком случае, верила в это. Дважды или трижды в месяц я навещал ее на часок-другой, когда совсем одуревал от своей будничной работы либо от скуки, которая буквально душила меня. Девушка была простой, но отзывчивой, мягкой, нетребовательной. Я не скрывал от нее, кто я такой, но никогда не изливал перед нею свою душу и не ожидал подобного и от нее. Разумеется, и речи не могло быть о любви между нами. Она стала первой, кому я дал снадобье, смешав его с золотистым вином.

— Мы выпьем это вместе, — сказал я, и когда она спросила у меня, что это такое, ответил, что это очень сблизит нас.

Тогда она спросила, как воздействует этот напиток на нас, спросила просто из любопытства.

И я объяснил:

— Оно откроет друг перед другом наши души. Оно сделает прозрачным все стены, разъединяющие нас.

Она не возражала, не взывала к Завету и не осуждала зло откровенности. Она поступила так, как ей было велено, убежденная, что я ничего плохого ей не сделаю. Мы вместе приняли снадобье и долго лежали обнаженные, прижавшись друг к другу, пока не почувствовали, как бьются вместе наши сердца.

— О! — воскликнула девушка. — Все это так необычно!

Но эти новые ощущения не испугали ее. Наши души растворились одна в другой, затем нас охватила буря взаимных чувств, и никакие запреты Завета уже не могли сдержать напор нашей любви.

47

В Судебной Палате Порта служил один клерк, некто Улман, человек вдвое моложе меня, очень многообещающий, который очень мне нравился. Он знал об истинном моем могуществе в Маннеране, о моем происхождении, однако вовсе не испытывал страха передо мною. Его уважение ко мне было вызвано только моими способностями, моими возможностями оценивать и разрешать самые сложные задачи, связанные с деятельностью Палаты. Однажды я задержал его после работы и позвал к себе в кабинет после того, как остальные сотрудники разошлись.

— Есть одно лекарство из Шумара, — начал я, — которое позволяет разуму одного человека свободно проникнуть в сознание другого.

Он улыбнулся и сказал, что слышал о нем и знает, что его трудно достать и опасно употреблять.

— Никакой опасности нет! — возразил я. — Что же касается того, как его достать… — я вытащил один из своих пакетиков. Он продолжал улыбаться, хотя щеки у него слегка порозовели.

Мы вместе приняли порошок у меня в каби-

нете. Через несколько часов, когда мы уходили домой, я дал ему несколько пакетиков, чтобы он предложил порошок своим друзьям.

48

В Каменном Соборе я осмелился заговорить с одним чужеземцем, невысоким толстяком в одежде принца, возможно, членом семьи одного из септархов. У него были ясные спокойные глаза добропорядочного человека.

Весь вид его говорил о том, что он довольно часто заглядывал в свой душевный мир и был вполне удовлетворен тем, что там видел. Но когда я заговорил с ним, он оттолкнул меня и отругал с такой яростью, что гнев, охвативший его, заразил и меня. Я едва не ударил его в слепом бешенстве.

«Самообнажающийся! Самообнажающийся!» Этот крик эхом прокатился по священному зданию, и многие посетители вышли из комнат, где они размышляли, чтобы узнать, что произошло. Никогда еще мне не было так стыдно, как тогда. Моя возвышенная миссия предстала передо мной в совершенно новом свете — я увидел ее как нечто грязное, а себя как жалкого, подкрадывающегося исподтишка пса, желающего выставить напоказ перед незнакомцами свою нечистую душу. Гнев мигом оставил меня, его место занял

страх. Я скользнул, как воришка в тень и поскорее постарался выскочить через боковую дверь наружу, опасаясь ареста. Целую неделю я ходил озираясь. Но никто не преследовал меня, кроме разве что своей собственной совести.

49

Опасность ареста миновала меня. Снова я почувствовал, насколько добродетельна моя миссия. Я ощутил только печаль, думая о человеке, который отказался от моего дара.

За последующую неделю я нашел трех незнакомых мне людей, согласившихся разделить со мной откровение. Теперь я изумлялся, как могло случиться, что сомнения едва не одолели меня. Однако самые мучительные сомнения были впереди…

50

Я попытался теоретически обосновать необходимость использования наркотика и создать новую теологию любви и искренности. Я изучил Завет и многочисленные комментарии к нему, стараясь понять, почему первые поселенцы в Веладе обожествили недоверчивость и скрытность? Чего они боялись? Что они хотели утаить? Темные люди из сумрачных времен, в черепах которых копошились ядовитые змеи. Они были убеждены в собственных добродетелях и поступали из самых благих намерений. Не раскрывай своей души даже близким. Они не должны знать, что тебе на самом деле нужно. Ты должен быть открыт только перед богами. Так эти люди и жили сотни лет, не задавая вопросов, покорные и верные Завету. Для большинства из них приверженность Завету теперь обусловлена лишь воспитанием и щепетильностью: они сами не хотят слушать других и посвящать их в свои заботы, по этому так и живут с запертыми на замок душами. Их душевные раны кровоточат, а они разговаривают на языке, в котором нет места

первому лицу.

Не пора ли создать новый Завет, утверждающий любовь и соучастие?

Укрывшись дома, я мучительно пытался таковой написать. Что я мог сказать, чтобы поверили? Мы многого достигли, опираясь на старую мораль, но только за счет прискорбного отказа от самого себя. Уже нет тех опасностей, которыми была полна жизнь первых поселенцев, и от некоторых обычаев, ставших помехами, нужно отказаться. Общество должно развиваться, иначе оно начнет разрушаться. Любовь лучше, чем ненависть, а доверие лучше, чем подозрительность. Но многое из того, что я написал, не могло убедить даже меня самого. Почему я нападаю на установленный порядок? Из глубоких убеждений или просто ради удовольствия? Я — человек своего времени. Я крепко связан путами своего воспитания, хотя усиленно старался разорвать их. Старое мировоззрение вошло в противоречие с новым, еще не сформировавшимся. Я из одной крайности впадал в другую, стыдясь своей экзальтации. Когда я усердно трудился над введением к своему Новому Завету, в кабинет вошла Халум.

— Что ты пишешь? — приветливо спросила она.

Я прикрыл страницу чистым листом и смутился. Девушка стала извиняться.

— Тебе интересно? — как можно беззаботнее спросил я. — Это отчеты по службе. Так, пустяки. Обычная бюрократическая писанина.

В этот вечер, презирая себя, я сжег все, что успел написать.

51

В эти недели я совершил много поездок в неизвестные мне места.

Друзья, туземцы, случайные знакомые, любовница — вот компания, с которой я путешествовал. Но за все это время я ни слова не сказал Халум о белом порошке. Испытать его действие вместе с ней было моим основным желанием.

Именно ради этого я в первый раз прикоснулся к нему губами. А сейчас я боялся сделать ей такое предложение: вдруг, познав меня очень близко, она перестанет меня любить?

52

Несколько раз я был готов заговорить с ней об этом. И каждый раз, в самый последний момент сдерживал себя. Я не осмеливался приблизиться к ней. Если хотите, вы можете измерить степень моей искренности по той нерешительности, которую я тогда проявлял. Насколько чистым, вы можете спросить, было мое новое вероучение об открытости, если я чувствовал, что моя названая сестра будет выше такого общения? Но я не стану лукавить, что была какая-то последовательность в моих размышлениях. Мое освобождение от табу, тяготевшим над откровенностью, — это следствие внешнего толчка, а не внутреннего развития, и я был вынужден непрестанно бороться со старыми этическими представлениями. Хотя, разговаривая со Швейцем, я и произносил слова "я" и «мне», однако при этом всегда ощущал какую-то неловкость.

Обрывки разорванных пут продолжали сковывать меня. Я любил Халум и желал, чтобы наши души соединились. В моих руках было средство, которое могло соединить нас. А я не решался. Да,

не решался.

53

Двенадцатым из тех, с кем я разделил снадобье с Шумары, был мой побратим Ноим. Он часто приезжал ко мне и гостил иногда по целой неделе.

Пришла зима, принеся снег в Глин, холодные дожди в Саллу и лишь туман в Маннеран, и северяне обожали приезжать в нашу теплую провинцию. Я не виделся с Ноимом с лета прошлого года, когда мы вместе охотились в Хашторах. В этом же году мы как-то потеряли интерес друг к другу. Место Ноима в моей жизни занял Швейц, и я почти не ощущал потребности в общении с побратимом.

Ноим теперь был довольно богатым землевладельцем в Салле: унаследовал земли семьи Кондоритов и родственников жены. Он пополнел, хотя и не стал толстым. У него было гладкое, даже несколько слащавое лицо, загорелая безупречная кожа, полные самодовольные губы; круглые насмешливые глаза отражали ум и проницательность этого человека. Ничто не ускользало от его внимания. Появившись у меня в доме, Ноим сразу же тщательно осмотрел меня,

как бы подсчитывая мои зубы и морщинки у глаз, и после формальных братских приветствий, после передачи подарков его и Стиррона, после подписания соглашения между собой, между хозяином и гостем, он неожиданно спросил:

— У тебя неприятности, Кинналл?

— С чего ты это взял?

— У тебя заострилось лицо. У тебя какая-то странная улыбка. Улыбка человека, который хочет показаться беззаботным. У тебя красные глаза, и ты их стараешься отвести, словно не хочешь смотреть прямо на собеседника.

Что-нибудь не так?

— Эти несколько месяцев были самыми счастливыми, — ответил я, возможно, даже слишком пылко.

Ноим не обратил внимание на мой ответ:

— У тебя неприятности с Лоимель?

— Пожалуйста, Ноим, ты даже не поверишь, как…

— Перемены написаны на твоем лице, — перебил он меня. — Неужели ты будешь отрицать, что в твоей жизни произошли перемены?

Я пожал плечами:

— Ну и что? А если и так?

— Изменения к худшему?

— Пожалуй, нет.

— Ты уклоняешься от вопросов, Кинналл. Для чего же тогда побратим, если не поделиться с ним своими заботами?

— Особых-то забот и нет, — настаивал я.

— Очень хорошо, — и он прекратил расспросы. Но я заметил, что в течение всего этого вечера побратим внимательно наблюдал за мной. А утром, за завтраком, он вновь вернулся к нашему разговору. Я ничего не мог скрыть от него. Мы сидели за бокалами голубого вина и беседовали об урожае в Салле, о новой программе Стиррона по преобразованию налогообложения, говорили о вновь возникших трениях между Саллой и Глином, о кровавых пограничных инцидентах, которые недавно стоили жизни моей сестре. И все это время Ноим наблюдал за мной. Халум завтракала с нами, и мы вспоминали о своем детстве, но и тогда Ноим не сводил с меня глаз. Глубина и сила его участия терзали меня. Вскоре он наверняка станет расспрашивать других, постарается выудить из разговоров с Лоимель или Халум какие-нибудь проясняющие подробности и может возбудить в них тревожное любопытство. Я не мог допустить этого. Ноим должен знать, что стало главным в жизни его побрати-

ма. Вечером того же дня, когда все разошлись, я отвел Ноима в свой кабинет, открыл тайник, где хранился белый порошок, и спросил, знает ли он что-нибудь о шумарском снадобье. Он сказал, что даже не слышал о нем. Я коротко описал ему действие порошка. Лицо его помрачнело, и он как-то внезапно стих.

— И часто ты употребляешь эту дрянь? — наконец вымолвил Ноим.

— Пока всего одиннадцать раз.

— Одиннадцать? И для чего, Кинналл?

— Чтобы лучше узнать, что из себя представляет собственная душа через восприятие других, — смело ответил я.

Ноим взорвался хохотом:

— Неужели самообнажение? Ну ты даешь, Кинналл!

— С годами вырабатываются странные привычки, брат.

— И с кем же ты играешь в эти игры?

— Их имена не имеют для тебя никакого значения, — уклонился я. — Ты не знаешь никого из них. Если говорить в общем, то это жители Маннерана, любители приключений, которые не боятся риска.

— Лоимель?

Теперь настала моя очередь смеяться.

— Она об этом даже и не помышляет.

— А Халум?

Я покачал головой:

— Хотелось бы набраться смелости и предложить ей попробовать. Но пока я все скрываю от нее. Из страха, ведь она слишком непорочна и к тому же легко ранима. Печально, не так ли, Ноим, что приходится скрывать нечто замечательное, нечто удивительное от своей названой сестры.

— И от названого брата тоже!

— Тебе об этом со временем было бы обязательно сказано. Может, попробуешь?

Глаза его сверкнули.

— И ты думаешь, надо попробовать? Нет, я не хочу!

Он непристойно выругался, что вызвало у меня всего лишь легкую усмешку.

— Есть надежда, что побратим разделит все, что довелось испытать.

Сейчас это средство откроет пропасть между нами, ибо приходилось бывать в таких местах, где ты никогда не был. Понимаешь, Ноим?

Брат кивнул. Я ввел его в искушение — это было видно по его лицу. Он кусал губы и потирал мочку уха, и все, что происходило в его мозгу, было мне

ясно, будто мы уже разделили с ним снадобье с Шумары. Из-за меня Ноим испытывал серьезное беспокойство: он понял, что я слишком далеко ушел от заповедей Завета и что, возможно, вскоре у меня будет крупнейший разлад как с самим собой, так и с законом. Однако ему не давало покоя собственное любопытство. Он сознавал, что предельная откровенность со своим побратимом — не бог весть какой грех, и ему трудно было устоять против соблазна вступить в общение со мной под воздействием этого наркотика. К тому же он испытывал ревность: ведь я обнажал свою душу перед другими людьми, какими-то незнакомцами, а не перед ним. Скажу вам честно, когда потом душа Ноима была открыта передо мной, мои мысли о теперешнем состоянии брата подтвердились.

Несколько дней мы не говорили об этом. Ноим приходил ко мне на работу и с восхищением смотрел, как я управляюсь с делами. С делами высочайшей государственной важности! Он видел, как почтительно относились ко мне служащие. Брат встретился с тем самым Улманом, которому я давал снадобье и равнодушная фамильярность которого вызвала у него подозрение. Мы вместе наведались к Швейцу и опустошили

не один графин доброго вина, обсуждая различные религиозные темы, добродушно и искренне переругиваясь, возбужденные хмельными напитками. («Вся моя жизнь, — сказал Швейц, — была поиском действительных причин того, что я понимал как иррациональное»).

Ноим заметил некоторые грамматические вольности в речи Швейца. В другой вечер мы обедали в обществе маннеранских аристократов в роскошном доме свиданий на холме, с которого открывалась панорама города. Это были маленькие, похожие на птиц, мужчины, нарядно одетые, суетливые, и огромные молодые красавицы-жены. Ноиму быстро наскучили эти худосочные герцоги и бароны и их разговоры о торговле и драгоценностях. Но он сразу же насторожился, услышав о каком-то зелье, попавшем в столицу с южного материка, которое якобы способно распечатать сознание. На это я откликнулся только вежливым междометием, выражавшим удивление. Увидев мое лицемерие, Ноим свирепо сверкнул на меня глазами, и даже отказался от бокала нежного маннеранского брджи: столь натянутыми стали его нервы.

На следующий день мы вместе пошли в Каменный Собор, но не на исповедь, а просто чтобы

посмотреть на древние реликвии, которые всегда интересовали Ноима. Нам повстречался исповедник Джидд и как-то странно мне улыбнулся. Я сразу же заметил, что Ноим стал прикидывать, не поймал ли я его в свои сети? Я видел, как в Ноиме закипает желание вернуться к тому разговору, но он никак не может решиться. Я же молчал. В конце концов накануне своего отъезда в Саллу Ноим не выдержал.

— Это твое снадобье… — начал он неуверенно.

Побратим сказал далее, что не сможет считать себя настоящим побратимом, если не отведает моего снадобья. Эти слова дались ему с огромным трудом: на верхней губе выступили капельки пота. Мы отправились в комнату, где нам никто не мог помешать, и я приготовил лекарство. Взяв в руки бокал, брат дерзко улыбнулся мне, но рука его тряслась так, что он едва не пролил зелье на пол.

Оно быстро подействовало на нас обоих.

В этот вечер была необычно высокая влажность, густой туман покрыл весь город и его окрестности. Казалось, он проник и в нашу комнату через полуоткрытое окно. Я видел, как дрожащие, мерцающие туманные сгустки танцевали между мной и Ноимом. Первые же

ощущения, вызванные наркотиком, встревожили брата, но я объяснил, что так и должно быть: удвоенное сердцебиение, ватная голова, высокие зудящие звуки. Теперь мы были обнажены друг перед другом. Я изучал внутренний мир Ноима, познавал не только его сущность, но и его представления о самом себе, покрытые налетом стыда и презрения. Ноим яростно ненавидел свои воображаемые недостаткам, а их было немало. Он обвинял себя в лени, отсутствии самодисциплины и честолюбия, недостаточной набожности, небрежном отношении к высоким обязанностям, физической и душевной слабости. Почему он видел себя таким, я не мог понять. Рядом с этим вымышленным образом был настоящий Ноим человек крутого нрава, преданный тем, кого любил, жесткий по отношению к глупости, проницательный, отзывчивый, энергичный. Контраст между выдуманным Ноимом и настоящим был ошеломляющим. Казалось, что он мог трезво судить обо всем на свете, кроме собственной личности. Я уже и раньше наблюдал подобные противоречия, экспериментируя с другими партнерами. Фактически такое презрительное отношение встречалось у всех, кроме Швейца: очевидно, он не имел воспитанной с детства склонности к

самоуничтожению. Однако Ноим был слишком критичен к себе.

Как и прежде, я увидел собственный образ, отраженный в восприятиях Ноима, — гораздо более благородный Кинналл Дариваль, чем это казалось мне самому. Как он идеализировал меня! Я был воплощением всех его представлений об идеале, человеком действия и доблести, умевшим осуществлять свою власть и получать желаемое, я был врагом праздности, примером строжайшей внутренней самодисциплины и набожности. Однако на этом образе выделялись свежие пятна, ибо теперь я, осквернив Завет, не только занимался грязным душевным развратом с одним, другим, третьим, но и соблазнил своего побратима участвовать в преступном эксперименте. Увидел также Ноим истинную глубину моих чувств к Халум. Сделав это открытие, которое подтвердило его старые подозрения, он сразу же изменил мой образ, причем не в лучшую сторону.

Я же показал Ноиму, каким я его всегда видел: быстрым, умным, способным, показал ему также, каким он был на самом деле, и тот образ, который он создал о себе в своем разуме. Взаимное изучение длилось довольно долго. Я полагаю, этот

процесс был чрезвычайно ценен для нас обоих: только мы как побратимы могли дать объективную картину того, что делалось в нашей душе. В этом у нас было огромное преимущество перед любой парой ранее незнакомых людей, объединившихся с помощью шумарского снадобья.

Возвратившись в реальность, я почувствовал себя взволнованным и изнуренным, но тем не менее, облагороженным и изменившимся.

Другое дело Ноим. Он выглядел холодным и опустошенным. Он не мог поднять на меня глаза. У него было такой безразличный вид, что я не стал ни о чем спрашивать, а просто молча ждал, пока брат придет в себя. В конце концов Ноим хрипло произнес:

— Это все?

— Да.

— Обещай одно, Кинналл. Согласен обещать?

— Что?

— Обещай, что никогда не будешь пытаться сделать это с Халум!

Обещаешь? Обещаешь, Кинналл? Обещай, что никогда, никогда не будешь пытаться сделать это с Халум!

54

Через несколько дней после отъезда Ноима ощущение вины перед ним погнало меня в Каменный Собор. Ожидая, когда Джидд сможет меня принять, я бродил по залам и закоулкам этого сумрачного здания, останавливаясь возле алтарей, почтительно кланяясь полуслепым толкователям Завета, спорящим во внутреннем дворе, отмахиваясь от неизвестных исповедников, которые, узнав меня, предлагали свою помощь. Все вокруг меня должно говорить о богах, но, как ни старался, я так и не мог обнаружить никакого божественного духа.

Возможно, Швейц пришел к вере с помощью душ других людей, я же, уйдя в самообнажение, потерял веру, и теперь мне все это было безразлично. Я знал, что со временем, даря любовь и доверие, я вновь обрету веру. Поэтому я чувствовал себя в Соборе простым туристом.

Вскоре Джидд прислал за мной. Я не исповедовался с того самого дня, накануне которого Швейц впервые дал мне шумарское зелье. Священник, маленький человек с кривыми ногами и крючко-

ватым носом, упрекнул меня в этом, отдавая мне в руки бланк договора. Я объяснил свое долгое отсутствие занятостью в палате. Он покачал головой и издал какой-то неодобрительный звук.

— У вас вот-вот начнет хлестать через край, — сказал Джидд, но я ничего не ответил и стал на колени перед зеркалом, отражавшим худое, незнакомое лицо. Он спросил, какого бога я предпочитаю сегодня, я ответил, что бога невинности, — исповедник странно посмотрел на меня. Зажглись священные огни. С помощью мягких слов он ввел меня в состояние полутранса, облегчающее исповедь. Что я мог сказать? Что я пренебрег данным мною обетом и запутался в попытках самообнажения со случайными людьми? Я сидел молча. Джидд постарался вызвать меня на разговор. Он сделал такое, чего ни когда не делал ни один исповедник: напомнил мне о предыдущей исповеди и попросил еще раз рассказать о том лекарстве, в употреблении которого я тогда сознался. Употреблял ли я его еще? Я прижался лицом к зеркалу, затуманив стекло своим дыханием. Да, да. Я жалкий грешник, который так и не смог одолеть свою слабость. Тогда Джидд спросил у меня, как я раздобыл это средство, и я рассказал, что в первый раз я попробовал его

в обществе человека, который приобрел его у побывавшего на материке Шумара. Священник поинтересовался, как зовут моего сообщника. Это был неуклюжий ход — я сразу насторожился. Мне показалось, что заданный вопрос имеет для Джидда гораздо большее значение, чем требуется для исповеди. К тому же в то время он не имел никакого отношения к моему душевному состоянию. Поэтому я отказался назвать имя. Тогда исповедник немного грубовато спросил у меня, не боюсь ли я, что он нарушит тайну обряда.

Боялся ли я этого? В редких случаях я утаивал что-либо от исповедников из чувства стыда, но никогда из страха перед предательством.

Я был наивен и всецело верил в этику церкви. Только теперь, когда Джидд неожиданно вызвал во мне подозрительность, я задал себе вопросы: "А можно ли доверять Джидду и всему его племени? Почему он так хочет узнать меня?

За какими сведениями он охотится? Что будет, если я открою свой источник снадобья". Я ответил строго:

— Испрашивается прощение только для того, чтобы не обидеть неизвестного исповеднику человека. Как же можно назвать имя сообщника, который надоумил на это? Пусть он сам и расска-

зывает на исповеди!

Но конечно же, Швейц никогда не пойдет в церковь. Таким образом, я выиграл эту словесную дуэль с Джиддом. Однако теперь я осознал бесполезность исповеди.

— Если вы хотите благословения богов, — заметил Джидд, — вы должны полностью раскрыть свою душу.

Как же я мог это сделать? Сознаться, что я соблазнил на самообнажение одиннадцать человек? Мне уже не нужно было прощения исповедника: я не верил в его добрую волю. Я быстро поднялся, ощущая легкое головокружение от долгого стояния на коленях в темноте, покачнулся и едва не упал. Звуки пения какого-то гимна, доносившиеся издалека, были мне совершенно безразличны.

— Исповедь сегодня что-то не получается, — сказал я Джидду. — Нужно более тщательно обследовать душу.

С этими словами я рванулся к двери. Исповедник вопросительно посмотрел на деньги, которые я всучил ему в руку и спросил:

— Плата?

— Можете оставить ее у себя, — ответил я и вышел.

55

Теперь дни для меня стали просто промежутками, отделявшими один прием снадобья от другого. Я стал пассивен во всем и отстранился от всяких обязанностей, ничего не замечая вокруг, живя только ради следующего общения. Реальный мир перестал существовать для меня. Я потерял вкус к женщинам, вину, пище, деятельности Судебной Палаты, трениям между соседними провинциями Велады и ко всему остальному, что встречается в жизни взрослого мужчины. Возможно, я стал слишком часто употреблять этот порошок. Я похудел, меня мучила бессонница, часами я ворочался без сна, задыхаясь от влажного воздуха тропиков. Утром я вставал очень усталым и в полудреме проводил все свое дневное время. Я почти не разговаривал с Лоимель и не прикасался ни к ней, ни к другим женщинам. Я даже заснул как-то днем за обедом с Халум. Я оскандалился при верховном судье Калимоле, ответив на один из его вопросов фразой: «Мне кажется...» Старый Сегворд Хелалам сказал мне, что я выгляжу больным, и предло-

жил отправиться на охоту вместе с сыновьями в Выжженные Низины. И тем не менее именно это зелье возвращало меня к жизни. Я отыскивал новых соучастников, как правило, их приводили те, которые уже совершили со мной путешествие во внутренний мир. Это была странная компания: два герцога, маркиз, проститутка, хранитель государственной архивной конторы, директор коммерческого банка Маннерана, поэт, капитан из Глина, любовница септарха, адвокат из Велиса, приехавший для ведения дел капитана Криша, и многие другие. Запас снадобья иссякал, и начались разговоры среди моих партнеров об организации новой экспедиции. К этому времени нас было уже пятьдесят. В Маннеране начались перемены!

56

Но иногда, неожиданно, в периоды смертельной тоски между общениями я испытывал необычное душевное смятение. Какая-то часть заимствованного мной чужого опыта, гнездившаяся в глубине моего подсознания, выходила наружу, перемешиваясь с моими переживаниями. Я продолжал сознавать, что я Кинналл Дариваль, сын септарха Саллы, и все же в мои воспоминания вклинивались переживания Ноима, или Швейца, или кого-нибудь из тех, с кем я делил зелье уже здесь, в Маннеране. Чужие мысли переплетались с моими, и целые периоды прошлого становились неясными для меня. Я был неспособен различить, было ли какое-нибудь событие частицей моей жизни, либо память о нем передалась мне через общение. Это меня смущало, но по-настоящему не страшило, за исключением первых двух или трех раз. Со временем я научился отличать чужие воспоминания от воспоминаний о моем подлинном прошлом благодаря многим признакам. Я понял, что снадобье превратило меня во «многие люди».

Я сделал свой выбор. Я не хочу быть меньше, чем «одним».

57

Ранней весной небывалая жара охватила Маннеран, к тому же так часто шли дожди, что вся растительность города, казалось, сошла с ума и поглотила бы все улицы, если бы ее ежедневно не пололи. Зелень была повсюду: зеленая дымка в небе, зеленые ливни, иногда пробивались зеленые лучи солнца, широкие глянцевые зеленые листья покрыли все балконы. В такую погоду, пожалуй, могла покрыться зеленой плесенью даже душа человека.

Зеленью также были окутаны все лотки овощных лавок. Лоимель дала мне длинный список того, что я должен был купить, в основном деликатесов из Трайша, Велиса и Влажных Низин. И я послушно, как хороший муж, пошел за покупками — улица, где продавалась зелень, была неподалеку от Судебной Палаты. Лоимель собиралась устроить грандиозный пир в честь Дня Поименования нашей старшей дочери, которая, наконец, получала свое настоящее имя, выбранное раньше для нее, — Лоимель. Вся знать Маннерана была приглашена на это празднество.

Среди гостей оказалось несколько, человек, которые испробовали со мной шумарское снадобье. Мне это доставляло особое удовольствие. Швейц, однако, приглашен не был, так как Лоимель всегда косо смотрела на него, да к тому же он собирался покинуть Маннеран, чтобы совершить какую-то деловую поездку.

Я продвигался среди лотков. Дождь прекратился совсем недавно, и небо было плоским зеленым диском, покоящимся на крышах домов. Вокруг все источало тонкие, терпкие ароматы. Вдруг в моей голове будто вскипели черные пузырьки, — я стал Швейцем, торгующимся на причале со шкипером, который только что привез очень дорогой груз из залива Шумар. Я остановился, чтобы насладиться этим сплетением индивидуальностей. Швейц растаял. Сквозь проступившее сознание Ноима я ощутил запах свежескошенного сена на полях имения Кондоритов под восхитительным солнцем конца лета.

Затем неожиданно я стал директором банка, сжимающим в своих объятиях Лоимель. Невозможно передать, что я тогда почувствовал. Невозможно описать перенесенный мной удар, короткий и жгучий, удар, потрясший меня столь ясным чужим восприятием. Я незадолго до этого

принимал порошок с директором, и ошеломила меня вовсе не измена Лоимель. Ее личные дела мало меня интересовали. Меня потрясло то, что во время общения я ничего такого не увидел в его душе, не понял, в каких отношениях он был с моей женой.

Либо эти видения возникли в моем мозгу без всякой причины, либо этому человеку удалось каким-то образом скрыть часть подсознания от меня, блокируя ее от моего проникновения, пока она все же не порвалась сейчас.

Значит, во время общения можно что-то утаить, хотя бы частично? Я всегда считал, что весь внутренний мир моего напарника распахнут передо мной.

Меня совсем не волновала его страсть, меня беспокоила неспособность согласовать то, что я сейчас испытал, с тем, что воспринял от него в день нашего общения. Но я не смог поразмышлять над этой проблемой, потому что когда я разглядывал витрину лавки пряностей, на мое плечо легла худая рука, и тихий голос произнес:

— Я должен тайно переговорить с вами, Кинналл.

Слово "я" мгновенно вырвало меня из размышлений.

Рядом со мной стоял Андрог Михан, хранитель архива септарха Маннерана. Это был невысокий мужчина с резкими чертами лица, весь какой-то серый. С такими, вы должны понять, можно было принимать снадобье в последнюю очередь, если нет других напарников. Ко мне его как-то привел герцог Шумарский, один из самых первых моих партнеров.

— Куда мы можем пойти? — спросил я, и Михан указал на обшарпанную церквушку для низших слоев, находившуюся на противоположной стороне улицы.

Исповедник стоял на ее пороге, пытаясь зазвать к себе кого-нибудь. Я никак не мог понять, каким образом мы можем тайно переговорить в церкви, но все же последовал за архивариусом. Мы вошли внутрь, и Михан взял со стола исповедника бланки договора. Наклонившись близко ко мне, он прошептал:

— Полиция уже направляется в ваш дом. Когда вы вернетесь туда, вас арестуют и отвезут в тюрьму на один из островов в заливе Шумар.

— Откуда вы это знаете?

— Указ об этом был подписан сегодня утром и попал ко мне для занесения в архив.

— Каково обвинение? — спокойно поинтере-

совался я.

— В самообнажении, — ответил Михан. — Обвинительный акт составлен служащими Каменного Собора. Есть также еще и обвинение в нарушении светских законов — употреблении и распространении запрещенных наркотиков.

Вы попались, Кинналл.

— Кто же осведомитель?

— Некто Джидд. Говорят, что он исповедник в Каменном Соборе. Неужели вы рассказывали об всем на исповеди?

— Да… По наивности… Ведь святость церкви…

— Святость тюрьмы! — пылко перебил меня Андрог Михан. — Вы должны сейчас же бежать. Не забывайте, против правительства вы бессильны!

— Куда же идти?

— На сегодняшнюю ночь вас укроет герцог Шумарский. Но потом…

Архивариус запнулся — вернулся исповедник. По-хозяйски улыбаясь, он спросил:

— Ну что же, господа, кто из вас первый?

— Срочное свидание откладывает нашу встречу, — покачал головой Михан.

— У этого человека свидание, а здесь, — я ткнул пальцем в грудь, внезапное плохое самочувствие.

И сунув озадаченному исповеднику крупную монету, мы вышли из церкви.

На улице Михан сделал вид, что не знает меня, и каждый из нас, не проронив больше ни слова пошел своим путем. Я не сомневался в истинности предупреждения ни единой секунды. Мне нужно было немедленно бежать.

Лоимель сама купит необходимые ей специи. Поэтому я немедленно отправился к герцогу Шумарскому.

58

Герцог — один из самых богатых людей в Маннеране. Его поместья разбросаны по побережью залива и склонам Хашторов, а роскошный дом в столице посреди парка мог бы вполне сойти за дворец императора. Он наследственный сборщик пошлины в ущелье Стройн, что и является причиной благоденствия его семьи: в течение столетий какая-то часть выручки с продажи экзотических плодов Влажных Низин на рынках Маннерана оседала в семейной казне. В своей уродливости герцог в высшей степени был замечателен, можно даже сказать, красив: большая плоская треугольная голова, узкие губы, огромный нос и необычайно густые вьющиеся волосы, ковром покрывающие всю голову. Волосы совершенно седые, однако лицо было совсем без морщин; на нем сверкали огромные темные проницательные глаза, остроту которых подчеркивали впалые щеки. У него было аскетическое лицо, всегда казавшееся мне то святым, то чудовищным, а иногда одновременно и тем и другим. Я сблизился с ним почти сразу же по прибытии в Маннеран,

много лет тому назад. Он тогда помогал Сегворду Хелаламу утвердиться в своей должности. Кстати, герцог был шафером со стороны Лоимель на нашей свадьбе. Каким-то образом он догадался, что я начал употреблять шумарский порошок, И добился того, чтобы принять его вместе со мной. Это и произошло четыре месяца назад, в самом конце зимы.

Оказавшись в доме, я обнаружил, что полным ходом шло возбужденное совещание.

Присутствовало большинство значительных людей, которых я завлек в свой круг самообнажающихся. Здесь было человек двенадцать. Архивариус Михан прибыл вскоре после меня.

— Теперь мы все в сборе, — сказал герцог Смор. — Они могли бы уничтожить нас одним ударом, но почему-то медлят. Кстати, как у нас охрана?

— Никто не побеспокоит нас внезапно, — ответил герцог Шумарский, обиженный предположением, что обычная полиция может ворваться в его дом.

Он перевел взгляд своих огромных необычных глаз на меня.

— Кинналл, это ваша последняя ночь в Маннеране. Здесь мы ничем не можем вам помочь. Вам

предстоит стать козлом отпущения.

— Кто же это так решил?

— Конечно же, не мы! — воскликнул герцог. Он разъяснил, что сегодня днем в Маннеране была произведена попытка чего-то вроде дворцового переворота. Исход до сих пор неизвестен, возможно, он удался. Бунт младших чиновников против своих повелителей. Начало этому было положено тем, что я сознался в употреблении шумарского зелья исповеднику Джидду. (Лица всех присутствующих в зале помрачнели — невысказанный намек на то, какой я глупец, что доверился церковнику. И сейчас я должен заплатить за свою глупость.) Я не был столь искушен в политике и в жизни, как эти люди!

Джидд, как оказалось, связался с заговорщиками среди недовольных младших чиновников, жаждущих добраться до власти. Поскольку он был исповедником самых могущественных людей Маннерана, то имел прекрасную возможность помочь этим честолюбцам, выдав все тайны сильных мира сего.

Почему Джидд решился нарушить данную им клятву — неизвестно. Герцог Шумарский предположил, что близкое знакомство породило у Джидда неприязнь.

После того как он выслушивал в течение многих лет грустные излияния своих могущественных клиентов, исповедник возненавидел их. Доведенный до отчаяния их признаниями, он нашел удовлетворение в содействии их сокрушению. (Теперь я по-новому осознал, на что могла быть похожа душа исповедника). С этих пор Джидд, по подсчетам герцога, — уже несколько месяцев, передавал полезные сведения жадным низшим чиновникам, которые ими запугивали своих повелителей, иногда весьма успешно. Сознавшись в употреблении наркотика, я сам стал уязвимым, и он продал меня определенному кругу лиц Судебной Палаты, которые всегда хотели изгнать меня.

— Но это абсурд! — вскричал я. — Единственное свидетельство против меня охраняется святостью Церкви! Как мог Джидд жаловаться на меня, основываясь только на том, в чем я сам ему сознался? Я сокрушу его обвинением в нарушении договора!

— Есть еще одно свидетельство, — печально заметил маркиз Войн.

— Что?

— Джидд побудил ваших врагов, — продолжал маркиз, — провести определенное расследо-

вание. В трущобах за Каменным Собором они нашли одну женщину, которая призналась им, что вы один раз напоили ее странным напитком, открывшим ее душу перед вами.

— Канальи!

— Они также сумели найти связь между некоторыми из нас и вами.

Сегодня утром перед нами предстали наши подчиненные, требуя передать им ведение государственных дел, либо подвергнуться разоблачению. На нас не подействовали эти угрозы, и шантажисты сейчас под арестом, но нечего даже говорить, как много сообщников они имеют в высших сферах. Возможно, в начале следующего месяца нас всех выбросят из своих мест и нашей властью завладеют новые люди. Тем не менее я сомневаюсь в этом, ибо, насколько мы можем определить, до сих пор единственно серьезным свидетельством является признание этой суки, которое имеет в виду только вас, Кинналл. От обвинения Джидда, конечно, можно отмахнуться, хотя оно может принести определенный вред.

— Мы могли бы уничтожить протокол с ее признанием, — сказал я. — А потом я заявлю, что никогда не знался с нею. Я…

— Слишком поздно, — покачал головой Глав-

ный Прокурор. — Ее показания запротоколированы. Я получил копию от главного судьи. А ему все верят, поэтому ваше дело безнадежно.

— Что же случится?

— Мы отвергнем все притязания шантажистов, — твердо произнес герцог Шумарский, — и тем самым обречем их на нищету. Мы подорвем авторитет Джидда и изгоним его из Каменного Собора. Мы будем отрицать все обвинения в самообнажении, обвинения, которые могут быть нам предъявлены. Вам, однако, придется покинуть Маннеран.

— Почему? — я недоуменно посмотрел на герцога. — Разве я настолько слаб? Если вы сможете противостоять обвинениям, почему я не смогу это сделать?

— Ваша виновность уже доказана. Если вы сбежите, можно будет объявить, что вы одиночка и та девчонка, которую вы совратили, является единственной вашей жертвой. Остальное же просто сфабриковано падкими до власти неудачниками, пытавшимися свергнуть своих господ. Если же вы останетесь, Кинналл, и попытаетесь выиграть это безнадежное дело, то в ходе следствия, безусловно, мы также окажемся раскрытыми.

Теперь весь их план был передо мной!

Я стал опасен для них. Стойкость моего духа могли сломить в ходе разбирательства, тогда выявится их виновность. Пока что единственным обвиняемым являлся я, и только я был не защищен от маннеранского правосудия. Они же становились уязвимыми только при моем посредстве, но если меня не окажется в Маннеране, то вряд ли узнают, что они тоже замешаны в этом деле. Безопасность большинства требовала моего спешного отъезда. Более того, только моя наивная вера в церковь, заставившая меня опрометчиво признаться Джидду, вызвала эту бурю. Я был причиной случившегося, и поэтому должен исчезнуть.

— Вы останетесь здесь до поздней ночи, — заметил герцог Шумарский, а затем в моей личной машине, сопровождаемой телохранителями, как будто я сам отправляюсь в поездку, вас отвезут в имение маркиза Война. Там вас будет поджидать речное судно. На заре вы окажетесь на другом берегу Война, на своей родине Салле, и пусть боги будут на вашей стороне во время этой поездки.

59

Снова беженец! В один-единственный день все могущество, которое я накапливал в Маннеране в течение пятнадцати лет, было безвозвратно утрачено. Ни высокородность, ни влияние в высших кругах — я был связан узами брака, любви или политики с половиной господ Маннерана — не спасали меня. Казалось, они сами изгнали меня, чтобы спасти собственную шкуру, но это не так!

Мой уход обязателен, и их это так же огорчало, как и меня.

При мне ничего не было, кроме одежды. Мой гардероб, мое оружие, мои драгоценности, все мое богатство стали для меня совершенно недоступными.

Еще мальчишкой-принцем, спасаясь бегством из Саллы в Глин, я был более предусмотрителен и часть своих денег послал впереди себя. Теперь же я был гол как сокол. Мои капиталы, конечно, будут конфискованы, и мои сыновья останутся нищими. Я растерялся: что делать?

Вот тут-то и пригодились мои друзья. Главный прокурор, который был примерно такого же

телосложения, что и я, принес несколько комплектов довольно приличной одежды. Секретарь казначейства добыл мне порядочное состояние в валюте Саллы. Герцог Смор прямо с себя снял несколько колец и кулон, чтобы я не выглядел нищим у себя на родине. Маркиз Войн подарил мне кинжал, рукоятка которого была украшена драгоценными камнями. Михан обещал поговорить с Сегвордом Хелаламом и рассказать ему подробности моего падения. Михан был уверен, что Сегворд отнесется к этому с сочувствием и сможет своим влиянием защитить моих сыновей, чтобы на них не пали грехи, совершенные их отцом.

Позже, глубокой ночью, ко мне пришел герцог Шумарский и вручил небольшую инкрустированную бриллиантами шкатулку из чистого золота, в каких обычно хранят лекарство.

— Осторожно откройте ее, — ответил он на мой немой вопрос.

Я открыл и обнаружил, что она до краев наполнена белым порошком. В изумлении я спросил у него, как ему удалось раздобыть такое богатство?

Герцог рассказал, что недавно тайно посылал своих слуг в Шумар, которые вернулись с неболь-

шим запасом порошка. Он заверял меня, что у него есть еще, но я был уверен: он отдал мне все.

— Вы отправляетесь через час, — сказал мне герцог, обрывая поток моих благодарностей.

Я попросил, чтобы мне позволили позвонить по телефону.

— Сегворд сам объяснит вашей жене, в чем дело, — покачал головой герцог.

— Мне нужно позвонить не жене, а названой сестре. Больше не представится возможности проститься с нею.

Герцог понял, что меня мучило: он знал о моей любви. Но он не мог даровать мне этот звонок. Линии связи могли прослушиваться. Никто не должен знать, что в эту ночь я находился в доме герцога, поэтому я не стал настаивать. Позвонить Халум я мог бы завтра из Саллы, когда буду в безопасности.

Час отъезда наступил быстро. Мои друзья уже разошлись. Герцог один вывел меня из дома. Нас ждал его великолепный лимузин, окруженный телохранителями на мотоциклах. Герцог обнял меня. Я залез в машину и откинулся на спинку сиденья, чтобы скрыть свое лицо за занавесками.

Водитель поднял поляризованные стекла, и машина плавно покатилась, набирая скорость.

Казалось, мы целый час ехали к главным воротам имения герцога. Затем мы выехали на шоссе. Я сидел как каменный, совсем не думая о произошедшем.

Наш путь лежал на север. Мы ехали очень быстро: солнце еще не взошло, когда мы въехали в имение маркиза Война, находившееся у границы с Саллой.

Внезапно густые заросли расступились, и я увидел берега реки Войн. Машина остановилась. Какие-то люди в темных одеждах помогли мне выбраться из нее, будто я был калекой, и повели к длинному узкому причалу, едва различимому в утреннем тумане, окутавшем реку. Я сел в очень маленькую лодку, однако она быстро помчалась по бурлящим водам широкого Война. Я все еще не понимал трагизма своего нового положения. Муки пришли со временем.

Приближалась заря. Я увидел причал на поросшем травой берегу. Скорее всего это был личный причал какого-то аристократа. Только теперь я почувствовал тревогу. Через мгновение я ступлю на землю Саллы. В каком же месте? Как мне добраться до жилых районов? Я же не мальчишка, чтобы просить водителей проходящих грузовиков подвести меня.

Но оказывается, все было устроено моими друзьями. Как только лодка уткнулась в дерево причала, передо мной выросла возникла какая-то фигура и протянула руку. Ноим! Он помог мне взобраться на причал и крепко обнял.

— Я знал, что это рано или поздно случится, — прошептал он. — Я очень рад, что ты будешь со мной.

Расчувствовавшись, он в первый раз за все время нашего знакомства отбросил вежливое обращение и обратился ко мне со словом "я"!

60

Около полудня я позвонил из имения Ноима в юго-западной Салле герцогу Шумарскому и сообщил о благополучном прибытии. Разумеется, именно он попросил Ноима встретить меня на границе. Затем я связался с Халум.

Сегворд уже рассказал ей о причинах моего внезапного исчезновения.

— Какая неожиданная для меня новость, — грустно сказала она. — Ты почему-то никогда не говорил мне об этом снадобье. Ты рисковал всем, лишь бы пользоваться им, — значит оно играло важную роль в твоей жизни. И ты все держал в тайне от своей названой сестры?

Я ответил, что если бы я рассказал о своем увлечении снадобьем, то не удержался бы и предложил попробовать. На это она сказала:

— Разве открыться перед своей сестрой уж такой ужасный грех?

61

Ноим обращался со мной очень приветливо, подчеркивая, что я могу оставаться у него столько, сколько пожелаю — недели, месяцы и даже годы.

По всей вероятности, моим друзьям в Маннеране со временем удастся освободить часть моих капиталов, и я смогу купить земли в Салле и зажить жизнью сельского барона. Или, возможно, Сегворд, герцог Шумарский и другие влиятельные лица смогут отменить обвинение в мой адрес, и я вернусь в южную провинцию. Но до тех пор, сказал мне Ноим, его дом будет моим.

Однако я почувствовал некоторую отчужденность в его отношении ко мне.

Казалось, гостеприимство было оказано только из уважения к тем узам, которые нас связывали. Причину отчужденности я понял только через несколько дней. Мы сидели после обеда в огромном беломраморном зале для пиршеств и вспоминали дни нашего детства. Это была основная тема наших разговоров, намного более безопасная, чем недавние события. Неожиданно

Ноим спросил:

— Известно ли тебе, что это снадобье является причиной кошмаров у людей?

— Что ты говоришь, Ноим? — изумился я. — О каких кошмарах ты говоришь? Я ничего не знаю!

— Теперь ты знаешь! После того как мы разделили с тобой это дьявольское зелье, в течение нескольких недель я просыпался каждое утро в холодном поту. Мне тогда казалось, что я схожу с ума.

— И что же ты видел в кошмарах?

— Страшные вещи! Когти. Чудовища. Ощущение, что ты не знаешь, кто ты.

Какие-то обрывки мыслей разных людей, переплетающиеся с собственными мыслями.

Он отхлебнул из бокала вина:

— Позволь тебя спросить, Кинналл. Ты принимаешь порошок ради удовольствия?

— Нет. Ради знания.

— Знания чего?

— Знания о себе и о других!

— В таком случае, лучше невежество, — он вздрогнул. — Ты знаешь, Кинналл, твой побратим никогда не был слишком набожным. Он богохульствовал, он показывал исповедникам

язык, он смеялся над легендами о богах, не так ли? И с помощью этой дряни ты едва не сделал его верующим, Кинналл! Страх перед тем, что открывает разум, страшно знать, что нет никакой защиты, что могут проникнуть прямо к тебе в душу и сам ты можешь сделать это. Такой страх невозможно перенести.

— Невозможно для тебя, — сказал я, — другие же только и мечтают повторить общение.

— Кажется, было бы лучше для всех придерживаться Завета, — голос Ноима звучал твердо. — Личность священна. Душа является собственностью только ее владельца. Обнажать ее — грязное удовольствие.

— Не обнажать, а делиться ею!

— Что, так лучше звучит? — уголки рта Ноима изогнулись в скептической улыбке. — Что ж, хорошо. Весьма грязное удовольствие делиться ею, Кинналл.

Даже несмотря на то, что мы побратимы. Когда мы расстались, у меня было такое чувство, будто я весь изгажен. Пыль и грязь на душе. Ты хочешь, чтобы это случилось с каждым? Чтобы каждый из нас испытывал чувство вины?

— Здесь не может быть такого чувства, Ноим, — вскричал я. — Отдаешь, воспринимаешь. После

этого чувствуешь себя лучше и чище!

— Грязнее!

— Человек становится более сильным, более участливым к другим.

Поговори с теми, кто испытал это, — предложил я.

— Конечно. Когда они будут потоком литься из Маннерана, эти безземельные беглецы, тогда можно будет спросить у них о красоте и чудесах самообнажения, извини меня, единения.

Я видел муку в его взгляде. Он все еще хотел любить меня, но шумарское снадобье показало ему такое о себе и, возможно, обо мне, что заставляло его ненавидеть человека, давшего ему это зелье. Ноим был одним из тех, кому необходимы стены. Я не понял тогда этого. Что же я натворил, превратив своего побратима в своего врага? Если бы могли еще раз попробовать это снадобье, может быть, для него это стало ясным. Но нет, надежды на это не было. Ноим напуган взглядом внутрь себя. Я превратил своего богохульствующего побратима в ярого приверженца Завета. Теперь я уже ничего не мог изменить.

После некоторого раздумья Ноим произнес:

— Нужно кое-что попросить у тебя, Кинналл.

— Все что угодно!

— Нехорошо чем-то ограничивать гостя. Но если ты привез с собой хоть грамм этой гадости, если ты прячешь ее где-нибудь у себя — выбрось все, что есть, понятно? Его не должно быть в этом доме! Тебе понятно, Кинналл?

Выброс и можешь об этом мне не говорить!

Никогда прежде я не лгал своему побратиму. Никогда!

Ощущая, как усыпанная бриллиантами шкатулка обжигает мне грудь, я произнес торжественно чеканя каждое слово:

— На этот счет тебе нечего бояться!

62

Несколько дней спустя известие о моем бегстве стало достоянием жителей Маннерана и Саллы. Все газеты писали обо мне, как о человеке огромного могущества, связанного узами кровного родства с септархами Саллы и Глина, который тем не менее посмел нарушить Завет: занялся постыдным самообнажением. Я не только нарушил моральные нормы, принятые в Маннеране, но также нарушил законы этой провинции, принимая некое запрещенное средство, которое разрушает возведенные богами барьеры между душами разных людей. Злоупотребляя служебным положением, я организовал тайное плавание к Южному материку (бедный капитан Криш!). Вернувшись с большим количеством опасного наркотика, я будто бы дьявольскими уловками вынудил женщину, бывшую у меня на содержании, его попробовать. Потом я начал распространять зелье среди наиболее значительных представителей аристократии Маннерана, чьи имена не раскрываются ввиду их чистосердечного раскаяния. Накануне своего ареста я

бежал в Саллу, и потому скатертью мне дорога! Если же я попытаюсь вернуться в Маннеран, то буду непременно арестован. Тем временем в Маннеран-Сити состоится заочный процесс, и в приговоре суда не приходится сомневаться.

Поскольку государству был нанесен огромный вред в виде подрыва основы общественной стабильности, с меня взыскивается штраф в размере всех моих земель и собственности, исключая только часть, необходимую для поддержания жизни ни в чем не повинных жены и детей. (Значит, Сегвор Хелалам все же добился своего!) Чтобы мои высокородные дети не могли перевести семейный капитал в Саллу, на все, чем я владел, наложен арест до Верховного Суда.

Все сделано по Закону. Пусть остерегаются все желающие стать самообнажающимся чудовищем!

63

Я не скрывался: у меня теперь не было причин бояться ревности своего царственного братца. Стиррон, мальчишкой возведенный на престол, раньше мог бы решиться на мое физическое уничтожение, но сейчас, когда он стоял у власти целых семнадцать лет! Нет, это невозможно. Стиррон уже давно утвердился в Салле, сейчас он является неотъемлемой частью существования каждого и всеми любим. А я чужеземец, меня едва помнят старики и совсем не знают молодые. К тому же я говорю сейчас с маннеранским акцентом и в этой провинции публично заклеймен позором самообнажения! Если бы я даже задумал свергнуть Стиррона, где бы я нашел помощников?

По правде говоря, я очень хотел повидаться с братом. В тяжелые времена всегда обращаются к товарищам былых дней. Ноим чуждался меня, а Халум была по ту сторону Война. Сейчас у меня был только Стиррон. Я никогда не обижался на то, что меня вынудили бежать из Саллы, поскольку понимал: если бы мы обменялись первородством,

я бы заставил его сделать то же самое. Если наши отношения были прохладными, то виной тому — его угрызения совести. Прошло несколько лет со времени моего последнего посещения Саллы. Возможно, мои злоключения смягчат его сердце. Я написал письмо Стиррону, официально прося разрешение жить в Салле. По законам моей родины меня должны были принять и без официального согласия, так как я оставался подданным Стиррона и обвинялся в преступлении, совершенном не на территории Саллы. И все же я решил написать прошение. Обвинения, предъявленные мне верховным судьей Маннерана, признался я, были правильными, но я предложил на суд Стиррона краткое и (мне кажется), красноречивое оправдание моего отхода от заповедей Завета. Я закончил письмо выражениями непоколебимой любви к нему и несколькими воспоминаниями о тех счастливых временах, которые мы прожили вместе, пока бремя септарха не извалялось на его плечи.

Я ожидал, что Стиррон в ответ пригласит меня посетить его в столице, чтобы получить устное объяснение тем страшным поступкам, которые я совершил в Маннеране. Воссоединение братьев было в порядке вещей в нашей истории. Но вызов

из Силлы-сити не приходил. Каждый раз, когда звонил телефон, я бросался к нему, полагая, что это звонит Стиррон. Но он не звонил. Прошло несколько унылых недель. Я охотился, плавал, читал, пытался писать свой новый Завет Любви. Ноим старался держаться подальше от меня.

Единственный опыт слияния душ вверг его в такое глубокое смятение, что он не мог смотреть мне в глаза, так как знал: я посвящен во все тайны его подсознания. Знание друг о друге вбило клин в наши отношения. Наконец, прибыл конверт с внушительной печатью септарха. В нем было письмо, написанное Стирроном, но я бьюсь об заклад, что его составлял какой-то твердокаменный министр, а не мой брат. В нескольких строчках, которых было меньше, чем пальцев на руке, септарх сообщал, что моя просьба о предоставлении убежища в Салле будет удовлетворена, но при условии, что я избавлюсь от пороков, приобретенных на юге. Если меня уличат в распространении дьявольского снадобья на территории Саллы, то тут же арестуют и выдворят за ее пределы. Вот и все, что мой брат Стиррон написал. Ни одной теплой строчке, ни одного доброго слова.

64

В середине лета к нам неожиданно приехала Халум. В этот день я далеко ускакал, отыскивая вырвавшегося из загона самца-штурмшильда. Тщеславный Ноим завел целый выводок этих злобных, покрытых густым мехом млекопитающих, которые не водятся в Салле и плохо приживаются в этой слишком теплой для них стране. Он держал их штук двадцать-тридцать — всюду когти, клыки и сердитые желтые глаза. Ноим надеялся получить приносящее прибыль стадо. Я преследовал сбежавшего самца, целое утро и полдня, с каждым часом все больше ненавидя его, так как он оставлял после себя изувеченные туши безвредных, мирно пасшихся животных. Эти штурмшильды убивают только из жажды кровопролития, откусив всего лишь один-два куска, оставляя остальное стервятникам. Наконец, я все же загнал этого хищника в тенистое небольшое закрытое с трех сторон ущелье.

— Оглуши его и привези невредимым, — просил перед отъездом Ноим.

Однако, зверь бросился на меня с такой яро-

стью, что мне пришлось сразить его лучом максимальной мощности. Потом, только ради Ноима, я взял на себя труд содрать со штурмшильда шкуру. Усталый и мрачный я галопом скакал назад. А при въезде во двор неожиданно увидел необычную машину, а рядом с ней… Халум!

— Ты знаешь, каково летом в Маннеране, — объясняла она потом. — Сначала хотела отправиться на остров, но затем решила провести лето в Салле, с Ноимом и Кинналлом.

Ей тогда было около тридцати. Наши женщины выходят замуж между четырнадцатью и шестнадцатью годами, рожают детей до двадцати четырех лет и к тридцати годам становятся женщинами средних лет. Но время, казалось, совершенно не коснулось Халум. Не ведая семейных ссор и мук родов, не истратив своей энергии на брачном ложе и не терзаясь у детских кроваток, она сохранила юное лицо и гибкое, стройное девичье тело. Халум изменилась только в одном: за последние несколько лет ее темные волосы стали серебристыми. Однако такой цвет волос еще больше подчеркивал ее красоту, выделяя густой загар девичьего лица.

Из Маннерана Халум привезла целую пачку писем: послания от герцога, от Сегворда, от моих

сыновей Ноима, Стиррона и Кинналла и дочерей Халум и Лоимель, от архивариуса Михана и еще от нескольких человек. Все они были написаны сконфуженным напряженным языком. Такие письма можно было писать мертвецу, когда чувствуешь себя виноватым за то, что пережил его. И все же было приятно читать эти довольно тягостные послания.

К сожалению, я не получил письма от Швейца. Халум сказала, что ничего не слышала о нем с тех пор, как я уехал, и полагает, что он покинул нашу планету. Не было ни слова и от моей бывшей жены. Это уязвило меня.

— Неужели Лоимель так занята, что не могла написать хоть пару строк?

Халум, смущенно глядя на меня, мягко сказала, что Лоимель больше не вспоминает обо мне:

— Похоже, она забыла, что была замужем.

Потом, после писем, началось вручение подарков от друзей, которые еще остались по ту сторону Война. Они ошеломили меня своим богатством массивные цепи из драгоценных металлов, ожерелья из редких камней…

— Дары в честь любви, — сказала Халум, но меня трудно провести. На эту гору сокровищ можно приобрести несколько крупных поместий. Любя-

щие друзья неспособны унизить меня переводом денег на мой счет в Салле — они преподнесли мне дорогие подарки, предоставив возможность освободиться от них по собственному усмотрению.

— Все это было очень тяжело для тебе? — спросила Халум. — Такое неожиданное бегство в изгнание?

— Это вовсе не изгнание, а возвращение, — возразил я. — К тому же здесь есть еще и Ноим — как побратим и товарищ.

— Если бы ты знал, что тебя все так дорого обойдется, — сказала она, — ты бы позаботился о своих нуждах!

Я рассмеялся.

Она внимательно посмотрела на меня и сказала:

— Кстати, если бы у тебя было немного этого зелья, ты бы попытался еще раз позабавиться им?

— Вне всякого сомнения.

— Но разве стоит ради этого терять дом, семью, друзей?

— Ради этого стоит потерять даже саму жизнь — усмехнулся я. — Если бы быть уверенным, что вся Велада попробует это средство.

Этот ответ, казалось, напугал ее. Она отпрянула, приложила кончики пальцев к своим губам,

вероятно, впервые осознав глубину безумия своего названого брата. Произнося эти слова, я вовсе не упражнялся в красноречии, моя убежденность должна тронуть ее. Халум осознала силу моей страсти и испугалась за меня.

Ноим много дней проводил вдали от своих земель, выезжая в Салла-сити по каким-то семейным делам или на равнину Нанд для осмотра собственности, которую он хотел купить. В его отсутствие я был хозяином имения, его слуги, что бы они обо мне не думали, не осмеливались открыто ставить под сомнение мое право на это. Ежедневно я ездил верхом проверять ход работ на полях Ноима, и Халум ездила вместе со мной. Особо следить было не за чем, так как был период между севом и жатвой, и мы ездили главным образом ради приятной прогулки, останавливаясь искупаться или перекусить на опушке леса. Однажды я показал ей загоны со штурмшильдами — они ей ужасно не понравились, и мы больше не ездили туда. Мне и Халум по душе были более мирные животные, пасшиеся на равнинах поместья. Мы часто ездили наблюдать за ними. Они близко подходили к нам и дружелюбно тыкались носами в ладони Халум.

Эти долгие прогулки давали нам возможность

вволю наговориться. С самого детства я не проводил столько времени с Халум, и поэтому сейчас мы стали еще более близки. Сначала мы вели себя довольно сдержанно, не желая поранить друг друга каким-нибудь неосторожным вопросом.

Но вскоре мы говорили, как и подобает названым брату и сестре. Я спросил, почему она не выходит замуж.

— Не встретился подходящий мужчина, — ответила Халум.

Не жалеет ли она, что осталась без мужа и детей? Нет, сказала она, ей не о чем сожалеть, ибо вся ее жизнь была безмятежной и полезной. И все же в ее голосе слышались тоскливые нотки. Я не стал допытываться дальше. Со своей стороны она стала спрашивать о шумарском порошке, стараясь понять, что побудило меня подвергнуться такому риску. Меня растрогали ее чувства, с которыми она задавала свои вопросы: стараясь быть искренней, объективной и участливой, она не смогла скрыть свой ужас перед тем, что я совершил.

Будто ее названый брат совершенно обезумел и зарезал человек двадцать на рыночной площади, а она теперь пыталась посредством терпеливых и добродушных расспросов дать философское

обоснование тому, что побудило его устроить такую массовую резню. Я старался говорить хладнокровно, чтобы не смутить ее своей страстью, как это случилось при нашей первой встрече. Я не пускался в нравоучения, а спокойно объяснял действие лекарства, рассказывал о результатах его действия, так привлекающих меня, растолковывал причины по которым я отвергал заточение наших душ в каменные темницы, на что нас обрек Завет.

Вскоре наши отношения совсем изменились. Она перестала быть высокородной госпожой, желающей из самых добрых намерений понять преступника, она стала просто ученицей, пытающейся постичь таинства, открываемые ей посвященным мастером. И я перестал быть красноречивым докладчиком, а стал, скорее, пророком, глашатаем освобождения. Я говорил об упоительных переживаниях, испытываемых при соединении душ, я рассказывал о чудесных ощущениях, получаемых при раскрытии душевного мира, и о вспышке, сопровождающей слияние собственного сознания с сознанием другого человека. Наши беседы превращались в монологи. Я захлебывался в словесном экстазе и только время от времени останавливался, чтобы взглянуть

на вечно юную Халум с посеребренными волосами, сверкающими глазами и полуоткрытым от изумления ртом. Уже было ясно, чем все это закончится. В один из жарких дней, когда мы бродили по полевым тропинкам среди колосящихся высоких хлебов, она неожиданно спросила:

— Если ты достанешь это снадобье, почему бы тебе не поделиться им со своей названой сестрой?

Я обратил ее в свою веру!

65

В этот вечер я растворил несколько щепоток порошка в двух стаканах вина. Халум недоверчиво взглянула на меня, когда я протянул ей один стакан, и ее нерешительность передалась мне. Я колебался, стоит ли начинать. Но она одарила меня волшебной, полной нежности улыбкой и быстро осушила свой стакан.

— Оно совсем безвкусное, — заметила она, пока я пил свою долю. Мы сидели, беседуя в зале, куда Ноим складывал свои охотничьи трофеи: на полу лежали рога птицерогов, на стенах висели шкуры штурмшильдов. Когда началось действие наркотика, Халум задрожала. Я стащил огромную черную шкуру со стены, набросил ее ей на плечи и держал девушку в своих руках, пока ей не стало тепло.

Что получится из всего этого? Несмотря на самоуверенность, я был напуган. В жизни каждого человека есть что-то, что он желает совершить, что терзает его до глубины души, пока остается неосуществленным, и все же, когда приближается момент свершения, он обязательно начинает

испытывать страх, ибо, вероятно, удовлетворение желаний приносит ему больше мучений, чем удовольствия. Именно так, да, да, так, обстояло дело и со мной. Но постепенно мой страх слабел и, наконец, совсем пропал, когда началось действие снадобья. Халум уже улыбалась. Ей было хорошо.

Стена, разделявшая наши души стала перегородкой, сквозь которую мы могли свободно проходить. Халум первая пересекла ее. Я не решался мне казалось, что войти в сознание своей названой сестры было что-то сродни лишению ее девичьей чести и нарушением запрета на телесную близость между названными родственниками. Я еще боролся с остатками старой веры, когда между нами пали последние барьеры. А Халум, поняв, что уже ничто не сдерживает ее, без всяких колебаний проникла в мое сознание. Моим мгновенным откликом на это была попытка закрыть себя: я не хотел, чтобы она знала о моем физическом влечении к ней. Но смятение было недолгим, я прекратил все попытки скрывать свою душу за фиговыми листочками и сам вошел в сознание Халум. Началось подлинное общение, общение с запутанным переплетением наших "я".

Я увидел, что нахожусь — а чтобы быть более точным — затерялся среди зеркально гладких полов и серебристых стен, сквозь которые пробивался холодный искрящийся свет, подобно кристаллическому свечению некоторых рыб или насекомых. Это была девственная душа Халум. В нишах этих стен было аккуратно расставлено все, что составляло ее жизненный опыт: воспоминания, образы, запахи, вкусы, видения, фантазии, разочарования, восторги. И все сверкало чистотой. Я не увидел ни следа сексуальных восторгов, ничего из плотских страстей. То ли Халум из скромности надежно защитила свою сексуальную сферу от моего проникновения, то ли загнала ее в такой далекий угол своего сознания, что я не мог добраться до него.

Она встретила меня без страха и с радостью, именно с радостью соединилась со мной. Когда наши души слились, общение стало полным. Я плавал в сверкающих глубинах ее души, смывая грязь со своей души, — она исцеляло, она очищала. Я не знаю, очищаясь, оставлял ли я грязные следы в ее душе? Мы поглотили друг друга. Во мне душа Халум, которая всю мою жизнь была моей опорой и моей смелостью, моим идеалом и моей целью, это холодное, совершенное воплощение

неувядающей красоты. И, вероятно, моя прогнившая насквозь душа стала источником кислоты, брызнувшей на это сверкающее совершенство. Путешествуя по ее внутреннему миру, я попал в необычную область, напомнившую мне ту пору юности, когда мне предстояло бегство в Глин. Прощаясь со мной в доме Ноима, Халум обняла меня, и в ее объятии я увидел что-то похожее на трепет едва сдерживаемой страсти, проблеск желаний тела. Меня! Меня! Я решил, что нашел зону чувственности, но она неожиданно ускользнула, и передо мной сверкала металлическая поверхность ее души. Возможно, это было нечто, созданное мной из своих вспенившихся желаний и спроецированное в ее сознание. Не знаю.

Наши души растворились друг в друге — я уже не мог различать, где кончался я и где начиналась Халум.

Я вышел из транса. Прошла добрая половина ночи. Мы протирали глаза, трясли наполненными туманом головами, неловко улыбались. Каждый раз, выходя из транса, я ощущал чувство стыда, что открыл слишком много. К счастью, это ощущение длится обычно недолго. Я взглянул на Халум и почувствовал, как горю святой любовью к ней, любовью, в которой совершенно не было

места плоти. Я хотел сказать ей, как когда-то сказал мне Швейц: «Я люблю тебя!» Но я внезапно подавился этими словами. "Я" застряло у меня в горле. «Я, я, я, я люблю тебя Халум!» Если бы я мог только вымолвить это "я". Но оно не слетало с моих губ. Оно было здесь, но оставалось внутри меня. Я взял ее за руки, она улыбнулась ярко, ясно и безмятежно. Как мне сказать Халум о своей любви, не оскорбив ее? Поймет ли она меня? Глупости!

Наши души были единой сутью, почему же простой порядок слов может разрушить что-то? «Я люблю тебя!» Запинаясь, я выдавил:

— Есть… такая любовь… к тебе… такая любовь, Халум…

Она кивнула, как бы говоря: «Молчи! Твои неуклюжие слова нарушают очарование». Как бы говоря: «Да, такая же любовь существует и к тебе, Кинналл». Как бы говоря:

«Я люблю тебя, Кинналл!» Легко встав, она подошла к окну: прохладный свет луны озарял сад возле дома. Деревья и кусты замерли серебристой тишине. Я поднялся, подошел к ней и очень нежно прикоснулся к ее плечам. Она встрепенулась и тихо произнесла что-то нежное. Ей хорошо. Я уверен, ей было хорошо тогда.

Мы не обсуждали случившееся: это испортило бы нам настроение. Мы могли обменяться впечатлениями и завтра, и еще послезавтра… Я проводил Халум в ее комнату и робко поцеловал в щеку. Она тоже по-сестрински поцеловала меня, улыбнулась и затворила за собой дверь. Я долго сидел в своей комнате, вспоминая последнее общение. Снова во мне заговорил и миссионер. Я поклялся, что буду активным проводником новой веры. Я выйду отсюда и познакомлю всех людей Саллы со своим вероучением. Я не стану больше прятаться в доме побратима. Не желаю оставаться безнадежным изгнанником среди своего родного народа. Предупреждение Стиррона ничего не значит. На каком основании он может изгнать меня из Саллы? Я буду обращать в свою веру сотню человек за неделю. Тысячу, десять тысяч… я самому Стиррону дам это снадобье, и пусть тогда септарх со своего трона провозгласит законным это лекарство! Халум вдохновила меня! Утром же я отправлюсь на поиски своих апостолов!

Во дворе послышался какой-то шум. Я выглянул и увидел краулер — это Ноим вернулся из деловой поездки. Он вошел в дом, я услышал его шаги в коридоре, когда он проходил мимо моей

комнаты. Затем донесся стук в дверь.

Я выглянул в коридор. Брат стоял возле двери в комнату Халум и разговаривал с ней. Халум видно не было. Зачем он зашел к ней? Ведь Ноим для нее всего лишь один из многих друзей. Он должен был сначала поздороваться со своим побратимом. У меня возникли нехорошие подозрения. Я усилием воли отказался от них. Их разговор закончился. Дверь в комнату Халум закрылась. Ноим, не заметив меня, пошел дальше, к своей спальне.

Я никак не мог заснуть. Написал несколько страниц, но ничего путного не получилось. На заре я вышел немного побродить по затуманенному саду.

Мне послышался далекий крик. Какой-то зверь зовет к себе свою подругу, подумал я. Некоторые заблудившиеся звери бродят до самого рассвета.

66

Завтракал я один. Это было необычно, но не удивительно: Ноим, вернувшийся домой посреди ночи после длительной поездки, захотел подольше поспать, а Халум, наверное, еще не отдохнула после вечернего сеанса.

У меня был отличный аппетит, и я уплетал за всех троих, не переставая думать о том, как мне удастся сокрушить Завет. Когда я уже допивал чай, один из конюхов Ноима вломился в столовую. У него горели щеки, раздувались ноздри, будто он долго бежал и вот-вот свалится с ног.

— Скорее! — закричал он, задыхаясь. — Там штурмшильды…

Он схватил меня за руку и буквально вытащил из-за стола. Я бросился за ним. Мы бежали по немощеной дороге, ведущей к загонам штурмшильдов.

Наверное, ночью звери проломили изгородь, и теперь мне снова целый день придется гоняться за ними. Однако, приблизившись к загонам, я не заметил ни поваленных столбов, ни порванных сеток, ни следов их когтистых лап.

Конюх прильнул к прутьям самого большого загона, в котором содержалось до десятка этих свирепых хищников. Я заглянул во внутрь. Животные сбились в кучу, их мех и морды были забрызганы кровью, они дрались между собой из-за какого-то обглоданного кровавого куска, яростно разрывая остатки плоти.

Повсюду за земле были разбросаны следы их пиршества. Неужели какое-то несчастное домашнее животное в темноте случайно забрело в гнездо этих хищников? Как могло такое случиться? Однако конюх мог и не тревожить меня из-за этого. Я схватил его за руку и спросил, что тут произошло? Он повернул ко мне искаженное ужасом лицо и, давясь, выпалил:

— Госпожа… госпожа…

67

Ноим был груб со мной.

— Ты солгал, — кричал он. — Ты скрыл, что привез сюда эту дрянь, ты солгал! Не отрицай, ты дал ей это дьявольское зелье в прошлый вечер. Да?

Не пытайся обмануть меня, Кинналл! Ты дал ей эту пакость?

— Ты с ней разговаривал, — сказал я. Язык с трудом повиновался мне. — Что она тебе говорила?

— Я остановил у ее двери, потому что показалось, что кто-то всхлипывает, — стал рассказывать Ноим. — Я спросил, все ли у нее в порядке?... Она вышла. У нее было странное лицо. Казалось, Халум грезила, глаза ее были пустые, как бы стеклянные, и, да, да, она плакала. Она ответила, что ее ничего не беспокоит, и рассказала, что она беседовала с тобой весь вечер. Я изумился, почему же тогда она плачет? Халум пожала плечами, улыбнулась и сказала, что это женское дело, чепуха, женщины все время плачут и не могут объяснить причину. Она улыбнулась еще раз и закрыла дверь. Но у нее был такой взгляд — это снадобье, Кинналл! Несмотря на все твои клятвы,

ты его дал ей! А теперь… теперь…

— Пожалуйста, — сказал я кротко. Но он продолжал кричать, во всем обвиняя меня, и я ничего не мог ответить.

Конюхи воссоздали картину того, что произошло. Они обнаружили следы ног Халум на влажном от росы песке, которым была посыпана дорога к загонам. Дверь в сторожку была прикрыта, что давало возможность подойти к загонам со штурмшильдами. Внутренняя дверь, открывающая проход к калитке, через которую кормили зверей, была взломана. Она прошла во внутрь, осторожно открыла калитку и так же осторожно закрыла ее за собой, чтобы не выпустить штурмшильдов на волю. Затем она подставила свое тело жутким когтям ждавших ее зверей. Все это случилось перед самой зарей, возможно, даже тогда, когда я брел в туманной утренней мгле раннего рассвета. Этот отдаленный крик в тумане… Но зачем она это сделала? Зачем? Зачем?

68

Через несколько часов все мое небольшое имущество было упаковано. Я попросил у Ноима машину, и он дал мне ее, грубо махнув рукой. Не могло быть и речи о том, чтобы я остался у него в гостях еще на какое-то время.

И не только потому, что здесь погибла Халум, но и потому, что мне необходимо было уединиться, чтобы спокойно осмыслить происшедшее, проанализировать все, что я сделал, и все, что я собирался сделать. К тому же мне не хотелось присутствовать здесь в тот момент, когда окружная полиция начнет расследовать обстоятельства смерти Халум.

Неужели после того как раскрыла свою душу, она больше не могла смотреть мне в лицо? Но ведь Халум с радостью согласилась на слияние наших душ. Может быть, впоследствии ее охватил ужас от содеянного: сильна еще привычка таить все внутри себя. Быстрое необратимое решение… и путь с каменным лицом к загонам штурмшильдов. Так ли это было? Я не мог придумать другого объяснения этому отчаянному поступку.

Теперь я был без названой сестры и без названого брата… Ноим с ненавистью смотрел мне в глаза. Разве этого я хотел, когда мечтал раскрыть души своих соплеменников?

— Куда же ты собираешься? — спросил в самый последний момент Ноим. — В Маннеране тебя тут же посадят в тюрьму. Сделай хоть один шаг в Глине с этой дрянью, и с тебя живьем сдерут кожу. Стиррон будет травить на тебя псов по всей Салле. Так куда же ты направляешь свои стопы?

В его голосе послышалась усмешка, а может быть, мне это просто показалось.

— Куда? Трейт? Велис? Или, может быть, Умбис? Дабис? Нет! Ей-богу, мне кажется, что это будет Шумара! Не так ли? Да. Среди родных тебе дикарей ты будешь сыт по горло самообнажением. Да?

Я спокойно ответил:

— Ты забыл о Выжженных Низинах, Ноим. Хижина в пустыне — мирная обитель. Это достойное место для раздумий… Теперь нужно очень многое понять…

— Выжженные Низины? Ну что ж, это хорошо, Кинналл. Выжженные Низины в разгар лета! Достойное огненное чистилище для твоей грязной души. Ступай же туда, Кинналл. Ступай.

69

Я проехал вдоль отрогов Хашторов на север, затем повернул на запад, на дорогу, которая вела к Конторою и Вратам Саллы. Не раз я задумывался, а не свернуть ли в сторону, в бездну, зиявшую за обочиной дороги, и разом покончить со всем. Не раз, просыпаясь в какой-нибудь деревенской гостинице и вспоминая Халум, я с большим трудом поднимался с постели, мне казалось, что станет гораздо легче, если я буду продолжать спать. Прошло около пяти суток, я уже был в Западной Салле и готовился к подъему в горы. В каком-то городишке на полпути к горам я узнал, что в Салле издан приказ о моем аресте. Кинналл Дариваль, сын септарха, мужчина тридцати лет, такого-то роста, с такими-то чертами лица, брат достопочтенного лорда Стиррона, разыскивался по обвинению в чудовищных преступлениях: самообнажении и употреблении опасного зелья, которое, несмотря на запрет септарха, предлагал всем неосторожным. Посредством этого вещества беженец Дариваль довел до безумия свою названую сестру, которая лишила себя жизни.

Поэтому все граждане Саллы должны способствовать задержанию злодея, за что будет выплачено приличное вознаграждение.

Раз Стиррон знал, как умерла Халум, значит, Ноим ему все рассказал. Я обречен. Как только я достигну Врат Саллы, я найду там жандармов Западной Саллы, дожидающихся меня. Однако почему же тогда местное население не оповещено, что я направляюсь в Выжженные Низины? Наверное, Ноим рассказал не все, что ему было известно. Может быть, он давал мне шанс?

У меня не было выбора, и я продолжал двигаться вперед. Чтобы добраться до побережья не хватит и нескольких дней, к тому же, вероятно, во всех портах Саллы объявлена тревога. Но даже если я и проскользну на какой-нибудь корабль, куда же мне податься? В Глин? В Маннеран? Подобным же образом бесполезно думать о том, чтобы как-то переправиться через Хаш или Войн в соседние провинции: в Маннеране я уже объявлен вне закона, и, разумеется, найду холодный прием в Глине. Значит, пусть это будут Выжженные Низины! Я буду оставаться там некоторое время, а затем попробую пробраться через один из проходов в Трайш, чтобы начать новую жизнь на западном побережье.

Я закупил все необходимое в одном из городков, где отовариваются все охотники, направляющиеся в Низины: сухую пищу, оружие, конденсированную воду в количестве, которого при умеренном употреблении хватит на несколько месяцев. Посещая магазин, я заметил, что жители городка как-то странно разглядывают меня. Узнали ли они во мне принца-развратника, которого разыскивают по всей провинции? Но никто не пытался схватить меня.

Возможно, им известно, что выставлен кордон у Врат Саллы, и они не хотят связываться с таким извергом. Как бы то ни было, но я без помех выехал из городка и начал свой последний этап путешествия. В прошлом я ездил по этому шоссе только зимой, когда вокруг лежали глубокие сугробы. Однако даже сейчас в тенистых закутках можно увидеть грязно-белые пятна; по мере того, как дорога шла в гору, снега становилось все больше, а двойная вершина Конгороя совсем утонула в снегах. Тщательно рассчитав время подъема, я ехал с такой скоростью, чтобы быть у Врат к заходу солнца. Я надеялся, что темнота защитит меня, если дорога будет заблокирована.

Однако Врата Саллы никем не охранялись. Стиррон не успел прикрыть западную границу или

решил, что я не настолько сошел с ума, чтобы бежать на запад.

Когда начала заниматься заря, я уже был далеко внизу, в Выжженных Низинах, задыхаясь от жары, но, по крайней мере, в безопасности.

70

Эту хижину я нашел неподалеку от гнезда птицерога, примерно там, где, судя по моим воспоминаниям, ей и надлежало быть. Все необходимые человеку удобства отсутствовали, никаких удобств, в стенах зияли дыры. Но все-таки это был кров. Да, это был кров! Ужасный жар этих мест очистит меня. Я расположился в хижине как дома: разложил свои вещи, распаковал бумагу для записей, которую купил в городке, чтобы составить отчет о своей жизни и деяниях, поставил в угол покрытую бриллиантами шкатулку с остатками снадобья, накрыл ее одеждой и вышел из хижины на красный песок. Весь день я занимался маскировкой машины, чтобы она не выдала моего присутствия, когда появятся ищейки. Я загнал машину в расщелину, так что крыша ее едва виднелась над поверхностью земли, и прикрыл хворостом, поверх которого набросал песок. Только острый глаз мог обнаружить спрятанный краулер.

В течение нескольких дней я просто бродил по пустыне и размышлял.

Затем я отправился на то место, где птицерог сразил моего отца. Сейчас я не испытывал ужаса перед этими остроклювыми птицами: страх смерти не преследовал меня. Я думал о событиях «времени перемен» и задавал себе вопросы: «Этого ли ты хотел? Доволен ли ты?» Я вспоминал все опыты общения, начиная со Швейца и кончая Халум и спрашивал: «Хорошо ли все было? Много ли допущено ошибок? Приобрел ли ты что-нибудь или только потерял?» И я пришел к заключению, что приобрел больше, чем потерял, даже несмотря на все мои ужасные потери. Ошибался только в тактике, принципы были верны.

Если бы я остался с Халум до тех пор, пока не прошло ее смятение, она, возможно, и устояла бы перед стыдом, который довел ее до гибели. Если бы я был более откровенным с Ноимом… Если бы я остался в Маннеране, чтобы смело встретить своих недругов. Если… если… если… И все же я не сожалел о тех переменах, которые произошли во мне. Я раскаивался лишь в том, что своим неумением погубил революцию в душах людей. Ибо я был убежден в ошибочности Завета и нашего образа жизни. Да, нашего Образа Жизни!

То, что Халум покончила с собой после того, как в течение нескольких часов испытывала любовь,

было, возможно, самым сокрушительным обвинением Завета.

В конце концов, не очень много дней тому назад я начал писать то, что вы сейчас читаете. Беглость этого писания удивила меня. Наверное, я слишком болтлив, хотя мне трудно излагать свою жизнь фразами с местоимениями и глаголами первого лица. «Я — Кинналл Дариваль, и я намерен рассказать вам все о себе». Так я начал свои воспоминания. Был ли я до конца правдив? Не утаил ли я что-нибудь? День за днем мое перо бежало по бумаге и я положил всего себя перед вами, ничего не исправляя. В своей горячей хижине я разделся перед вами догола. В это время у меня не было никаких контактов с внешним миром, кроме случайных признаков того, что агенты Стиррона прочесывают Выжженные Низины в поисках меня. Я уверен: сейчас уже выставлена охрана во всех проходах, ведущих в Саллу, Глин и Маннеран, а возможно, и в западных проходах, и в Стройно, чтобы я не мог улизнуть в Шумару через Влажные Низины. До сих пор мне сопутствовала удача, но они все же должны будут отыскать меня. Так стоит ли их дожидаться? Или лучше двинуться дальше, в надежде найти неохраняемый перевал? Со мной

эта пухлая рукопись. Она мне дороже жизни. Если бы вы только могли прочесть ее, если бы вы только могли увидеть, как, спотыкаясь и падая, я шел к познанию себя, если бы вы только могли ощутить каждое движение моего разума! Я полагаю, этот документ не имел аналогов во всей истории Велады. Если меня схватят, мою книгу заберут, и Стиррон велит ее сжечь.

Значит, мне пора в путь. Но… Какой-то шум? Двигатели?

По плоской красной равнине к моей хижине быстро двигался краулер. Все кончено! Одно радует: я успел записать все, что хотел.

71

Пять дней прошло с тех пор, как я закончил последнюю главу, но я все еще здесь. Это был краулер Ноима. Он приехал, чтобы спасти меня.

Осторожно, будто ожидая, что я открою огонь по нему, он подходил к моей хижине, непрерывно зовя:

— Кинналл! Кинналл!

Я вышел наружу. Найм попытался улыбнуться, но из-за напряжения, в котором он все время находился, ему это не удалось.

— Казалось, ты обязательно должен быть где-то вблизи этого места.

Гнездовье птицерога — он все еще здесь обитает?

— Что тебе нужно?

— Патрули Стиррона ищут тебя, Кинналл. Твой побег проследили до самых Врат Саллы. Они знают, что ты находишься в Выжженных Низинах. Если бы Стиррон знал тебя так же хорошо, как твой названый брат, он тотчас заявился бы сюда со своими солдатами. А пока тебя разыскивают на юге, полагая, что ты намерен выбраться через

Влажные Низины на побережье залива Шумар и оттуда отправиться на корабле в Шумару. Но как только они обнаружат, что тебя нет на юге, здесь начнутся тщательные поиски.

— И что тогда?

— Тебя арестуют и отдадут под суд. Обвинят и посадят в тюрьму. А в худшем случае — казнят. Стиррон считает тебя самым опасным человеком на всем материке Велада.

— Так оно и есть…

Ноим сделал жест в сторону машины:

— Садись. Мы прорвемся через кордон. Сначала в Западную Саллу, а затем вниз по реке Войн. Герцог Шумарский встретит тебя и устроит на какой-нибудь корабль, плывущий на юг. Через месяц ты будешь уже в Шумаре.

— Почему ты помогаешь мне, Ноим? Зачем утруждаешь себя? Я ведь совсем недавно видел в твоих глазах ненависть. Может быть, помнишь, когда я тебя покидал…

— Ненависть? Ненависть? Нет, Кинналл, не это, а только печаль! Да, только печаль. До сих пор твой названый брат… — он запнулся, затем, сделав над собой усилие, произнес: — Не забывай, я твой названый брат! Я связан клятвой, что буду заботиться о твоем благополучии. Как я могу

допустить, чтобы Стиррон охотился за тобой как за диким зверем? Идем!

Идем! Я увезу тебя отсюда!

— Нет!

— Нет?

— Нас обязательно поймают, Ноим. Стиррон обвинит и тебя. Он с радостью заберет все твои земли и лишит высокого звания лорда. Это бесполезная жертва, Ноим.

— Я проделал такой дальний путь в Выжженные Низины ради тебя, Кинналл. Если ты думаешь, что сможешь меня отговорить от моего…

— Давай не будем спорить, Ноим. Даже если мне удастся с твоей помощью бежать, то что в конечном итоге ждет меня? Провести остаток жизни в джунглях Шумара, среди людей, языка которых я не знаю и которые во всех отношениях для меня чужие? Нет и еще раз нет! Я устал от побегов и изгнаний. Пусть Стиррон забирает меня!

Убедить Ноима оставить меня здесь было нелегко. Мы стояли нескончаемые минуты под жгучим полуденным солнцем и горячо спорили. Он решил во что бы то ни стало увезти меня, понимая, что нас все равно схватят. Он настаивал на бегстве из чувства долга, а не любви, так как до сих пор считал меня виновным в смерти Халум. Я не

хотел, чтобы из-за меня он подвергся бесчестью, и сказал ему так: «Ты и так поступил благородно, проделав такой долгий путь. Но я все же должен остаться здесь».

В конце концов он начал сдаваться, но только когда я поклялся, что сам буду попытаться спастись. Я обещал направиться к западным горам. Если я благополучно доберусь до Трайша или Велиса, то обязательно уведомлю об этом каким-нибудь образом Ноима, чтобы он перестал беспокоиться за мою судьбу. Затем я сказал:

— Здесь есть одна вещь, которую я хотел бы…

Он перебил меня возгласом согласия.

Я вынес из хижины свою рукопись — толстую пачку бумаг, красные каракули на плохой серой бумаге. Здесь, сказал я, он найдет все: мою раскрытую настежь душу и описания всех событий, приведших меня в Выжженные Низины. Я попросил его прочесть рукопись и не выносить свое суждение обо мне, пока не прочтет все.

— Ты найдешь здесь такое, что вызовет у тебя ужас и отвращение, предупредил я.

— Но думаю, ты найдешь здесь многое, что откроет твои глаза и твою душу. Прочти это, Ноим. Читай внимательно. Задумайся над моими словами. Поклянись именем наших братских уз что

сохранишь мою книгу, даже если захочется сжечь ее. Вся моя душа содержится в этих страницах.

Уничтожив рукопись, ты уничтожишь меня. Если же почувствуешь невыносимое омерзение к тому, что прочел, то отложи мои записи, но сохрани их! То, что шокирует тебя сейчас, возможно, не будет шокировать через несколько лет. И когда-нибудь ты, может быть, захочешь показать мою исповедь другим для того, чтобы объяснить, каким человеком был твой побратим и почему он совершил все то, в чем его обвиняют.

«Чтобы ты мог изменить их так же, как, я надеюсь, эти записки изменят тебя», — подумал я про себя.

Ноим дал клятву.

Он взял бумаги и спрятал их в своей машине. Мы обнялись. Он опять спросил у меня, не поеду ли я с ним. И я опять отказался. Я заставил его еще раз дать обещание, что он прочтет мою книгу и сохранит ее. Я вошел в хижину. Рукописи в том месте, где я ее хранил, уже не было, и я сразу ощутил какую-то тягостную пустоту, подобно женщине, которая носит в себе ребенка целых семь месяцев, а затем с ужасом убеждается в том, что никакого ребенка не было. Я излил всего себя в этих страницах! Теперь я был ничем, а книга

— всем! Прочтет ли ее Ноим? Думаю, что да! Сохранит ли он ее? Весьма вероятно, что сохранит, хотя и будет держать ее в самом темном углу своего дома. Покажет ли он ее когда-нибудь другим? Этого я не знаю. Но если вы все же прочитали то, что я написал, то знайте: это благодаря Ноиму Кондориту. Значит, все-таки я покорил его душу. Надеюсь покорить и вашу.

72

Я сказал Ноиму, что больше не буду оставаться в хижине и отправлюсь назад. Но мне совершенно не хотелось покидать это место. Здесь был мой дом. Я остался в этой хижине еще на один день, потом на другой, затем на третий. Я бродил по окрестностям, праздно наблюдая за тем, как в вышине жаркого неба лениво кружит птицерог. На пятый день, как вы уже, должно быть, поняли, меня снова охватило желание писать свою биографию. Я уселся на то же место, где провел много часов за работой и написал несколько новых страниц, где рассказал о посещении меня Ноимом.

Затем я пропустил еще дня три, уговаривая себя откопать краулер и двинуться на запад. Но утром четвертого дня Стиррон и его люди нашли мое убежище. Сейчас уже вечер этого дня, и у меня еще впереди час или два, в течение которых я могу писать, часы, которые даровал мне его милость лорд Стиррон! И когда я закончу свою работу, больше уже писать не смогу.

73

Они появились на хорошо вооруженных бронированных машинах, окружили мою хижину и с помощью громкоговорителей предложили мне сдаться. У меня не было ни какой надежды на то, что мне удастся уйти, да, если честно говорить, и не было желания сопротивляться. Хладнокровно — мне уже нечего было бояться — я вышел наружу с поднятыми руками. Они повыскакивали из своих машин, и я с удивлением увидел среди них Стиррона, которого потянуло в неохотничий сезон на небольшое развлечение, где добычей являлся его родной брат. На нем были все соответствующие его положению регалии. Он медленно подошел ко мне. Я не видел его несколько лет, и меня поразило, как он постарел: плечи округлились, голова наклонилась вперед, поредели волосы, глубокие морщины избороздили лицо, глаза выцвели и потускнели. Вот награда за то, что более чем полжизни на нем лежало бремя высшей власти. В полной тишине мы рассматривали друг друга. Рассматривали как два незнакомца, которые имели какие-то

общие точки соприкосновения. Я пытался увидеть в этом стоящем передо мной человеке того мальчика, товарища по детским забавам, своего старшего брата, которого я любил и так давно потерял. Однако сейчас я видел только упрямого старика с дрожащими губами.

Септархи хорошо владеют искусством скрывать свои истинные чувства, но Стиррон не был в состоянии ни скрыть что-либо от меня, ни придать своему лицу какое-либо неизменное выражение.

Я видел, как одно выражение его лица сменяется другим: ярость монарха, смущение, печаль, презрение и даже что-то, что я принял за тщательно подавляемую любовь. После долгого молчания я первым заговорил и пригласил его в хижину побеседовать. Он заколебался, возможно, полагая, что я замышляю что-то нехорошее, но уже через мгновение принял мое приглашение самым королевским образом, махнув телохранителю, чтобы он ждал снаружи. Когда мы оказались в хижине, снова наступило молчание, которое на этот раз уже первым нарушил Стиррон.

— Никогда не было так больно, Кинналл. Едва верится тому, что приходилось о тебе слышать. Ты осквернил память нашего отца…

— Разве это такая уж скверна, септарх-повелитель?

— Предать Завет! Растлевать невинных? Не забудь, что твоя названая сестра среди жертв! Что ты натворил, Кинналл? Что ты натворил?

Я почувствовал себя ужасно усталым и закрыл глаза, ибо едва понимал, что он говорит. Через несколько мгновений я обрел силы и взял брата за руку.

— Я люблю тебя, — сказал я, улыбаясь.

— Ты болен!

— Разве говорить о любви — болезнь? Но мы ведь вышли из одного и того же чрева! Разве мне нельзя любить тебя?

— Ты говоришь одни непристойности.

— Я говорю так, как велит мне мое сердце.

— Ты не только болен, ты вызываешь тошноту у собеседника, — оскалился Стиррон. Он отвернулся и плюнул на песок пола. Сейчас брат казался мне какой-то устаревшей средневековой фигурой, попавшей в западню своего сурового царственного лика, заточенный среди бриллиантовых камней своей должности и парадного мундира, говорящей что-то грубое и далекое. Как я мог тронуть его душу?

— Стиррон, давай вдвоем попробуем снадобье

с Шумара. У меня еще осталось немного. Я растворю его, и мы выпьем. И тогда в течение часа или двух наши души будут едиными, и ты все поймешь. Я клянусь, ты все поймешь!

Сделаешь это? Убей меня после этого, если ты еще будешь хотеть моей смерти, но сначала прими снадобье.

Я стал суетиться, готовя нужную порцию. Стиррон поймал меня за руку и остановил. Он покачал головой, будто опечаленный:

— Нет! — сказал он. — Это невозможно.

— Почему?

— Старшему септарху нельзя одурманивать свой разум!

— Я только хочу подступиться к разуму своего брата Стиррона!

— Твоему брату хочется только, чтобы тебя исцелили. Старший септарх должен избегать всего, что может причинить ему вред, ибо он принадлежит только своему народу!

— Но это средство безвредное, Стиррон.

— Ты хочешь сказать, что оно было безвредным и для Халум Хелалам?

— Разве ты напуганная девственница? — удивился я. — Я давал этот порошок десяткам людей. Халум единственная, у которой была такая пло-

хая реакция… А также, Ноим, как мне кажется, правда, потом он все же справился с собой. И…

— Двое самых близких тебе людей, — покачал головой Стиррон и печально закрыл глаза, — пробовали это вещество, и обоим оно причинило вред. Теперь же ты предлагаешь его еще одному близкому человеку — брату, да?

Безнадежно! Я попросил снова, попросил несколько раз, я упрашивал его рискнуть, но, конечно же, он не притронулся к нему. Однако если бы даже такое случилось, какая мне от этого польза? Я бы нашел в его душе только сталь.

— Что же теперь со мной будет? — спросил я.

— Открытое судебное разбирательство, которое и вынесет справедливый приговор.

— Какой же? Казнь? Пожизненное заключение? Изгнание?

Стиррон пожал плечами:

— Это суду решать. Септарху негоже быть тираном.

— Стиррон, почему это снадобье так страшит тебя? Ты же не знаешь, каково его действие. Как мне доказать тебе, что оно приносит только любовь и понимание? Зачем нам жить как чужие, с душами, закутанными в одеяла недоверия? Мы сможем выговориться! Мы сможем пойти

и дальше. Мы сможем сказать "я" и потом не извиняться друг перед другом за употребление непристойных местоимений. Я! Я! Я! Мы сможем рассказать друг другу о том, что нас мучает и помочь друг другу избежать этих мучений.

Лицо септарха помрачнело. Я думаю, он был уверен в том, что я сошел с ума. Я прошел мимо него к тому месту, куда положил снадобье, быстро растворил его и протянул ему кружку. Он покачал головой и отпихнул рукой.

Я выпил свою кружку в несколько глотков и снова протянул ему его порцию.

— Давай! — подбодрил я его. — Выпей. Выпей! Оно не сразу действует.

Прими сейчас, чтобы мы смогли открыться друг другу в одно и тоже время.

Ну, давай же, Стиррон!

— Я бы мог убить тебя сам, — усмехнулся он, — не выпивая этого пойла.

И учти…

— Что? — вскричал я. — Скажи еще раз, Стиррон. Я?! Ты сказал я?!

Сам?! О, скажи это еще раз?!

— Жалкий обнажитель души. И это сын моего отца! Если я сейчас говорю тебе "я", Кинналл, то это потому, что ты заслуживаешь услышать

такое грязное слово именно от меня.

— Но оно не грязное! Выпей и ты поймешь почему это так!

— Никогда…

— Почему ты противишься этому, Стиррон? Что тебя пугает?

— Завет является священным! Сомневаться в Завете это значит сомневаться во всей социальной структуре нашего общества. Дай волю этому твоему зелью, и исчезнет благоразумие, нарушится стабильность. Неужели ты думаешь, что наши предки были негодяями? Неужели ты думаешь, что они были глупцами? Кинналл, они понимали, как создать долговечное общество. Где цивилизация на материке Шумар? Где города? Почему обитатели этого континента до сих пор еще живут в хижинах посреди джунглей, в то время как мы построили все, что нужно было построить?! Ты хочешь заставить нас пойти по их пути, Кинналл? Ты ломаешь различия между добром и злом, Кинналл, и поэтому скоро будут сметены законы и рука каждого человека сможет подняться против своего же товарища или соседа, и куда тогда денется твоя любовь и всеобщее взаимопонимание? Нет, Кинналл, и еще раз нет! Оставь себе свое зелье!

— Стиррон…

— Хватит! Ты арестован. Вставай и пошли. О эта жара…

74

Поскольку наркотик был еще во мне, Стиррон согласился оставить меня в покое на несколько часов прежде, чем мы отправимся назад, в Саллу.

Маленькая милость септарха-повелителя. Он выставил двоих часовых снаружи моей хижины и ушел с остальными охотиться на птицерогов.

Никогда прежде я не принимал наркотик без напарника. Необычные ощущения охватили меня, и я был один среди этих необычных ощущений. Когда спала стена с моей души, некому было войти в нее и ни с чьей душой я не мог слиться! Однако все же я смог обнаружить души моих стражей — суровые, замкнутые, твердые — и я чувствовал, что, приложив некоторое усилие, я мог бы войти в них.

Но я не сделал этого, так как, сидя один, я отправился в удивительное путешествие: мой разум расширился и воспарил ввысь, пока не охватил всю нашу планету, и души всего человечества смешались с моей. И привиделись мне чудеса. Я увидел, как мой побратим Ноим снимает копии

с моих воспоминаний и раздает их тем, кому доверял, а с этих копий снимаются другие, и они ходят по рукам во всех провинциях Велады. И с юга приходит судно, доверху груженное белым порошком, желанным не только для избранных, не только для герцога Шумарского или маркиза Война, но и для тысяч простых граждан, для людей, тоскующих о любви, для тех, кому тесны рамки Завета, для тех, кто жаждет общения с душами других людей. И хотя стражи старых порядков делают все, чтобы остановить этот процесс, но уже поздно, ибо старый Завет изжил себя и любовь и радость душевного общения невозможно больше прятать. Соединение душ продолжается, возникает целая сеть общения, сверкающие нити чувственных ощущений связывают каждого индивидуума со всем человечеством на этой планете. Завершается пора перемен, и устанавливается Новый Завет. Я видел все это из обшарпанной лачуги в Выжженных Низинах. Я видел, как рушатся старые стены. Я видел ослепительный свет всеобщей любви. Я видел новые лица, изменившиеся и восторженные. Руки касаются рук.

Души прикасаются к душам. Это видение огнем горело в моей душе целых полдня, наполняя меня

такой радостью, какой я никогда не испытывал. И только тогда, когда начало ослабевать действие наркотика, я понял, что это было просто моей фантазией.

А может быть, это и не будет в дальнейшем фантазией. Возможно, Ноим найдет читателей, для которых я писал свои воспоминания, и, возможно, другие убедятся что нужно следовать по моему пути, пока не станет много таких, как я. Тогда изменения будут всеобщими и необратимыми. Такое случалось и раньше. Я исчезну, я — предтеча, апостол, замученный пророк.

Но то что я написал, будет жить, и благодаря мне все вы изменитесь! Это не праздная моя мечта.

Последняя страница написана перед самыми сумерками. Солнце спешит к Хашторам. Скоро как пленник Стиррона я последую за ним. Я возьму эту маленькую рукопись с собой, и если мне повезет, как-нибудь передам ее Ноиму. Я не знаю, удастся ли мне это, не знаю, что случится со мной и с моей книгой. Если эти две части сольются в одну и вы прочтете все мои воспоминания полностью, то я уверен: дело мое не умрет. Из одного только этого воссоединения могут произойти перемены в Веладе, перемены для всех вас. Если вы

дочитали до этого места, я уже не умру в вашей душе. Так я говорю тебе, мой неизвестный читатель, что я люблю тебя и протягиваю тебе руку; я, который был Кинналлом Даривалем, я, который проложил первый путь, я, который обещал тебе, неизвестный друг, рассказать о себе и теперь могу сказать, что выполнил это обещание. Идите и ищите. Идите и любите, идите и не таитесь. Идите и будете исцелены.